

Юрий НАГИБИН



Тьма в конце туннеля



ВСЕМИРНАЯ
ЛИТЕРАТУРА

Всемирная литература

Юрий Нагибин

Тьма в конце туннеля

«ЭКСМО»

1988, 1994

Нагибин Ю. М.

Тьма в конце туннеля / Ю. М. Нагибин — «Эксмо», 1988,
1994 — (Всемирная литература)

Сборник поздних повестей Юрия Нагибина, подведших своеобразный итог литературной деятельности этого неординарного писателя. «Тьма в конце туннеля» появилась в 90-е годы, когда писатель вновь переосмыслил фашизм, юдофобию и прочую «советскую скверну». «Моя золотая теща» — прежде всего гимн всесильной любви, исток которой — в античных мифах и древнегреческом романе. «Сильнее всех иных велений» — повесть о деятеле русской музыкальной культуры, капельмейстере, основателе первого русского народного хора князе Юрие Николаевиче Голицыне.

© Нагибин Ю. М., 1988, 1994

© Эксмо, 1988, 1994

Содержание

Тьма в конце туннеля	6
Пролог	6
1	8
2	12
3	16
4	26
5	31
6	35
7	37
8	39
9	47
10	50
11	55
12	61
13	63
14	66
15	68
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Юрий Нагибин

Тьма в конце туннеля

© Эксмо, 2020

Тьма в конце туннеля

Повесть

Пролог

Я похоронил мать. Вслед за ней ушел отчим, вдруг перед этим как-то странно, жалко и неприятно взбодрившийся для будущего. Прошло несколько лет, и мне захотелось воскресить образ матери через немногие сохранившиеся в доме материальные знаки ее существования. Все жалкие ее туалеты были розданы подругам, вещи поценнее реализовал отчим, собравшийся начать новую жизнь, оставалась круглая кожаная коробка из-под шляпы, набитая всякой дребеденью: обрывки вышивок, бисерная сумочка, лакированный кожаный кошелек для иголок, два-три колечка, Георгии – один на ленточке, связка писем, несколько фотографий, почему-то мама не отдала их мне для альбома – то ли не нравилась себе на них, то ли с ними связаны какие-то неприятные воспоминания. Я так и не удосужился узнать причину. Никогда не любил расспрашивать близких людей, довольствуясь тем, что они сообщали мне сами.

Было там еще немало всякой всячины: сломанное страусовое перо, некогда украшавшее мою мушкетерскую шляпу, черепаховый гребень, крошечный перламутровый театральный бинокль, не раскрывающийся веер и моя полосатая младенческая распашонка на пуговицах, невесть зачем притащившаяся за мной в старость. Мать относилась к этому хранилищу без всяких сантиментов: стоит коробка на шкафу, никому не мешает, ну и пусть стоит. Она рылась в ней очень редко, чтобы достать что-то нужное: маскарадный бинокль, бисерную сумочку для съемок ее приятельнице – маленькой киноактрисе, какую-нибудь особую иголку для шитья...

Я снял пыльно-муаровую коробку со шкафа, протер тряпкой и открыл. Все предметы оказались на месте, кроме колечек, – возможно, они были брошены в тигель новой жизни отчима. Вид бисерной сумочки, как всегда, доставил удовольствие, она была полосатая, каждая полоска своего цвета: красная, синяя, лиловая, белая, черная – и приятно мялась в ладони. Я подержал в руках все предметы, но чувствительные кончики пальцев не отзывались на их субстанцию: ни гладкому перламутру бинокля, ни сухой ости страусового пера, ни лакированной коже кошелька для иголок. И глаз оставался равнодушен, как и рука. Меня не тронули молодые мамины фотографии. Теперь я понял, почему она их не любила: при сходстве черт в них не было маминой сути. Странно, что я не замечал этого раньше. Два Георгия лишились даже того тусклого блеска, который они еще сохраняли, когда я последний раз заглядывал в коробку. Матовые, позеленевшие, утратившие почетный вес награды, они выглядели латунными подделками, как самонаграды сегодняшнего чучельного казачества. Все названные вещи и не названные не имели никакого отношения к матери и моей тоске по ней. Воскресить образ матери через материальные знаки ее существования, как я выразился с непонятным велеречьем, мне не удалось. Мамы в коробке не оказалось.

Письма были перевязаны черной шелковой ленточкой. Я разорвал ее, распрямил верхний конверт. «Ее благородию Ксении Николаевне Красовской» – значилось на конверте. Да, моя мать была «благородием» и осталась им в гуще советского хамства. Ну, что пишут «ее благородию»? По естественному психологическому ходу я вынул письмо из единственного конверта без адреса. Так же в магазине люди берут тот галстук, который имеется в одном экземпляре, и только эти галстуки составляют: массовую продукцию.

Безадресное письмо сперва расстреляло меня, уложив намертво, затем вернуло совсем в иную жизнь. Коробка не была мусорным ящиком. Она хранила суть.

«Милая Ксёнушка, – писал неведомый автор мелким, убористым почерком, словно экономил бумагу, – это письмо передаст тебе человек вполне надежный, но в качестве почтальона ты его не используй. И вообще не пиши мне до тех пор, пока я не дам тебе знать. Но знака может и не быть. Я зашел слишком далеко, чтобы повернуть назад. Прости меня. Мы ведь знали, что нам нельзя иметь ребенка. Но что поделать, если будущий гражданин так упорно хотел появиться на свет. Слушай меня внимательно. У него должен быть отец. Ты понимаешь, что я имею в виду? Время наступает серьезное, и надо забыть сантименты. Мне не выкрутиться, даже если я сейчас уцелею. Они не уgomонятся, пока не перебьют всех. Тебе нужна защита. Одна ты не справишься, хотя ты сильная. С таким грузом, как я, не выплывешь. Меня надо вычеркнуть – раз и навсегда. Жизнь непредсказуема, вдруг кончится наваждение и бесы вернутся в преисподнюю. Ты веришь в это? Я – нет. Лучше и надежнее всего был бы Володя, он в чести у властей, но ведь Л. никогда этого не допустит. Да и вообще «не верь любви поэта, дева». Сеня тоже поэт, но не до такой степени, человек он хороший, но, к сожалению, бывший домовладелец, и это ему припомнят.

Остается Мара. Вы любили друг друга, думаю, он до сих пор любит тебя, что, конечно, не мешает его летучим романам. Я не верю в его отцовские качества, да ведь они и не требуются. Зато за ним прекрасная семья, могучий отец, чудесная мать, очаровательный брат. Это бастион – тебе не дадут пропасть. Я не берусь советовать, как все это устроить, в житейских делах ты умнее меня. Прости и прощай. К.».

Сейчас я не могу передать, что я чувствовал, читая это письмо. Но я и тогда не мог бы этого сделать, слишком много всего навалилось. Помню с абсолютной достоверностью ощущение грубой усталости и хамскую фразу, которую я произнес вслух:

– Надо было гондон надеть.

Так я приветствовал возвращение моего отца.

И не то чтобы мне не понравился этот загробный голос. Скорее понравился. Он был мягок, серьезен, решителен, без всякого балласта раскаяния, сожаления, чувства вины и прочих интеллигентских слюней. Все по правде жизни, которая не бывает безукоризненной и предусмотрительной в каждом движении. Это было в духе и характере моей матери: когда судьба подносила ей очередную пакость, она не расплескивала эмоций, а сразу начинала действовать. И еще я подумал, что у них все равно ничего бы не вышло, люди должны отличаться друг от друга, чтобы выдержать долгую совместную жизнь. Чуть бы суше, насмешливей, и во мне это письмо прозвучало бы голосом матери.

Своей грубой фразой я ответил свинцовой усталости, вдруг навалившейся на меня. Как будто вся прожитая жизнь медленно прокатилась по мне своим тяжелым колесом.

1

Вначале я, как Маугли, не знал, кто я, уверенный, что ничем не отличаюсь от остальной волчьей стаи. Но Маугли было легче обнаружить свою несхожесть с окружающим его одушевленным миром (звери Киплинга одушевлены), он был один такой – голый, бесшерстый, бесклыкий и бескогтистый, умеющий не только стоять, но и бегать на двух ногах. А вокруг все живые существа были на меня похожи – домашние животные не в счет, – и я долго не догадывался, что общность двуногих обманчива, что в людской несмети немало таких, что помечены незримым знаком неполноценности.

Затрудняюсь сказать, когда я обнаружил, что большинство мужчин и часть женщин, входящих к нам в дом, принадлежат к этому племени изгоев, равно как и мой лучший друг Миша (на детских фотографиях, сделанных чистопрудным фотографом-пушкарем, рядом со мной, на фоне белого замка, пальм и дирижабля в курчавом небе, неизменно стоит, красиво выставив ногу, элегантный мальчик, сливоглазый брюнетик с прической, которую называли «бубикопф») тоже принадлежит к касте меченых, и что бо́льшая часть детей, с которыми мы играем каждый день в Абрикосовском саду и обмениваемся время от времени визитами, из того же племени.

А ведь я знал чуть ли не с рождения о неодинаковости людей, казавшейся мне естественной и ни для кого не обидной. Моя семья, я сам, наши гости, мои друзья по саду, прогулкам и детским праздникам – интеллигенты, а все остальные: соседи по квартире, обитатели нашего большого дома, за редчайшим исключением, дворовые сверстники, с которыми я до поры не водился, – холуи. Так, во всяком случае, называла их моя мать, что не мешало ей легко находить с ними общий язык. Потом я понял, что взаимопонимание было замешано не на родности, а на прямо противоположном – мгновенном и радостном узнавании плебеями барской – высшей – сути моей матери. Видимо, революция не смогла уничтожить вместе с сотнями тысяч бар неизъяснимого очарования барства.

Холуями – мама не вкладывала презрительного, уничижительного смысла в это слово, просто констатировала социальную принадлежность – были: и хранительница моих детских лет, добрый гений дома, любимейшая из любимых Вероня, и ее сестра, чудесная Катя, недолгое время состоявшая в моих няньках, и те огромные семьи, что вселялись в освобождающиеся со смертью или по другим причинам убывания моих родных комнаты некогда принадлежавшей нам целиком квартиры, любая обслуга, будь то дворник, истопник, монтер, продавец в магазине, парикмахер, зеленщик из деревни, привозивший на розвальнях квашеную капусту и соленые огурцы, молочница с жестяными бидонами, пахнущими антоновским яблоком, холуем был и управдом, первый представитель советской власти в моей жизни, которого я почитал, боялся и ненавидел.

Меня удивило сунувшееся под перо слово «почитать». Неужели я «почитал» мрачного, молчаливого, с ножевым выблиском угрюмого взгляда исподлбья холуя Дедкова? Да, таково было предписанное дедом, главой семьи, отношение всех, кроме матери, позволявшей себе взбрыкивать, к молодой, смертельно опасной власти. Этот урок рабства остался со мной на всю жизнь. К любому начальству, встречавшемуся мне на моем пути: руководителям Союза писателей, партийным секретарям разного ранга, вызывавшим меня на правож, директорам издательств, главным редакторам журналов и газет, армейским командирам в дни войны, – я относился с ненавистью, презрением и почтением, благодарный им за все то зло, которое они могли мне сделать, но делали не до конца.

А теперь меня остановило слово «молодой» в приложении к дьяволиаде, искалечившей жизнь моих родителей, мою собственную, моих детей и внуков, не прекрати я род. «Молодой» – это что-то свежее, обещающее, летящее. Дико звучит «молодой палач» или «молодой

убийца». Но власть действительно была очень молода, всего на три года старше меня. Боже, на какую же малость разминулся я со временем, заставлявшим так мечтательно вспыхивать зеленые, вечно озабоченные глаза матери! Она была тогда «их благородием Ксенией Николаевной Красовской», так значится на конвертах немногих сохранившихся старых писем. Мать слишком любила свое прошлое, чтобы лакомиться им в засушенном виде.

Едва осознав свое бытие, я стал ощущать эпоху, оставшуюся за чертой, как единый временной пласт. У меня было такое же отношение к времени, как у древних греков. Для современников Перикла историческая война с персами и разрушение легендарной Трои не имели временного разрыва, и то и другое происходило раньше, не теперь. А когда – греческое сознание это не занимало, было за пределами постижения. Я ужасно раздражал маму расспросами о наполеоновском нашествии, требуя частных подробностей, как от очевидицы тех волнующих событий. Объяснить такой идиотизм – или тут что-то другое? – невозможно, но уже школьником, влюбленный в «Трех мушкетеров», я допускал встречу со старым д'Артаньяном и трепетно ждал ее. Такой ли уж это брел? Боборыкин, появившись на свет, год прожил при Пушкине, а покидая земную юдоль, год прожил при мне. Одна-единственная жизнь разделяет и вместе – соединяет меня с Пушкиным.

Вернемся к холуям. Они делились на тех, кто зависел от нас: Вероня, ее многочисленная родня, соседи, бесплатно лечившиеся у моего деда, – как во всех холуйских семьях, у них беспрерывно болели дети всеми подряд инфекционными болезнями (дыша этим пропитанным микробами воздухом, я ни разу ничем не заразился), и на холуев, которые от нас не зависели, – их мы побаивались, опять же все, кроме мамы. Таким образом, первое различие людей, открывшееся мне, лежало в области социальной, хотя я не уверен, что это слово подходит, ведь интеллигенция – не класс, а прослойка, холуи же вообще понятие аморфное. Но читатель поймет, что я имею в виду. И вот не домашняя легенда, а истина, подтвержденная многочисленными свидетельствами: после младенческого каннибальского языка, всех этих «мням-мням», «тпруа», «бо-бо» и тому подобного, после «мамы», «Верони», чуть позже «папы», так назвал я под общим давлением малознакомого человека, чье назначение в доме мне было неясно, я отчетливо и громко произнес «интеллигенция». Затем, помолчав и словно подумав, я сказал: «электричество», после чего, потрясенный этими лингвистическими подвигами, заткнулся на целый год. Родные ужасались, что я онемел, но, исполнив невесте кому данный обет молчания, я принялся болтать и не могу остановиться до сегодняшнего дня. Самое поразительное, что, произнеся слово «интеллигенция», я знал, что оно означает. Эта ясность с годами затуманилась, а в близости исхода я окончательно запутался. Хуже обстояло с «электричеством», я и тогда не понимал и сейчас не понимаю, что это такое. Мне вдруг пришло в голову, что мое младенческое, дремлющее сознание искало нечто похожее на знаменитую ленинскую формулу коммунизма.

Понятие «интеллигент» допускает широкое толкование, наше было не лучше и не хуже всех других, а вот «холуй» в нашем семейном понимании не совпадал с общеупотребительным, производящим от него глагол «холуйничать» – пресмыкаться, заискивать перед властью имущими, для нас «холуй» – это простолюдин, черная кость или, более старое, хам.

Вскоре я стал догадываться, что в большом мире, а большим миром были для меня в ту пору два наших двора, интеллигентов не слишком жалуют. Это знали и мои интеллигентные друзья, старательно обходя дворовую вольницу. А меня туда тянуло. Мне чего-то не хватало в компании тихих мальчиков, выбранных родителями мне в друзья. С шести лет меня определили в немецкую группу, которую вела милая Анна Федоровна Борхарт, каким-то образом связанная в прошлом с домом художника Лансере, что меня в детском неведении ничуть не волновало, а для родителей было, как теперь говорят, знаком качества.

Она учила нас немецкому языку между делом, главным нашим занятием было рукоделие. Мы клеили из тонкого картона коробочки непонятного назначения, мастерили аппликации из

[!веткой бумаги, вызывавшей во мне какое-то плотоядное чувство; она была так приятна на вид и на ощупь, гладкая, плотная, туго-телесная, каждый цвет – с отливом и переливом, к этому примешивался едкий и вкусный запах синдетикона, и довольно пустое занятие – ни один из нас не отличался художественными наклонностями – превращалось в радение, служение чему-то тайному, тут присутствовал несомненно чувственный момент, столь яростно отвергаемый Набоковым, который при всем своем дерзостном уме, проницательности, иронии и бесстрашии застрял в тенетах золотого невинного детства – совсем по Чарской.

Почти столь же волнующим на этих уроках было для меня ритуальное принятие нашей наставницей йода; она накапывала его из темной бутылочки в чашку с молоком, капля тонула в белой жидкости, затем всплывала со дна, окрашивая молоко янтарной желтизной, и мне казалось, что Анна Федоровна вкушает небесный нектар. Я придумал вкус этого напитка, напоминающий вкус не известного мне тогда ликера «Какао-шуа», и мучительно завидовал ей, не подозревая, что она умиряет щитовидную железу.

Моими соучениками были интеллигентные мальчики: Коля, Веня и Муля, называю их в порядке старшинства. Коля был моим ровесником, Веня на год младше, Муля на год младше Вени. Он сразу стал писклей, изгоем – жалкое маленькое существо в нарядной бархатной курточке, с ямочками на щеках и кудрявой головенкой. Мы с Колей не были великодушны к этому беззащитному человечку. Другого мальчика мы не задевали из почтительно-брезгливой жалости: он недавно перенес стригущий лишай и носил чепчик на лысой голове. Обрастал он медленно, каким-то страусиным пухом, лишь когда кончилась наша домашняя лицеза и мы пошли в школу, Веня обзавелся шапкой густых темных волос.

Мальчики были благовоспитанны, шаркали ножкой, то и дело благодарили, не выставлялись друг перед другом, не соперничали. Я хорошо к ним относился, даже к Муле, хотя и донимал его, но мне было с ними скучно, особенно когда мы подросли и впереди забрезжила школа, манившая меня, как д'Артаньяна мушкетерский полк. И как же я ее возненавидел – почти сразу!..

Лишь раз в Коле пробудилась мужская лихость. Его крупная, яркая, с пепельными волосами и сияющими сиреневыми глазами мать была актрисой Художественного театра на вторых или третьих ролях. Но для чего-то она была нужна труппе, раз ее держали. Однажды она взяла нас на утренний спектакль.

Я впервые попал в театр, и сразу на такое острое, ошеломляющее зрелище, как «Синяя птица», с олицетворенными стихиями и пищевыми продуктами, с очеловеченными домашними животными, с душами умерших, гигантскими привидениями и огненным кузнецом, с поэзией, заглянувшей в еще глухое для звуков сладких и молитв сердце. Впрочем, молился я то и дело, но крайне прагматично, всегда что-то выпрашивая. Эта низкая привычка сохранилась у меня по сию пору, я все время докучаю Всевышнему деловыми и хозяйственными просьбами. Этот спектакль был открытием второго мира, лежащего за поверхностью вещей и явлений, там были смерть, о которой я смутно догадывался, и печаль, которую я предчувствовал, и тоска по неведомому, разрушившая самодостаточную цельность моего благополучного мира. Спектакль вырывал меня из детства, а я не хотел с ним расставаться и стал противиться, обернувшись вдруг таким сорванцом, каким никогда не был.

В антракте я будто с цепи сорвался, втянув в свои безумства благоразумного Колю. Мы едва не разнесли бельэтаж, где находились наши места. Мы носились как угорелые, перепрыгивали через спинки кресел, боролись, рушась на грязные коврики проходов, чуть не сбивая с ног оробевших зрителей, задевали весьма чувствительно – до рева – чинных детей, обмазывающих рот шоколадкой из буфета, и довели до слез пожилую капельдинершу, пытавшуюся нас уговорить. Мы не вылетели из театра лишь потому, что находились под высоким покровительством Колиной матери. Она видела наши бесчинства, но не могла вмешаться, потому что

находилась в плотном кольце кавалеров, которых Коля называл незнакомым словом «поклонники». Лишь иногда доносился ее потерянный, далекий, как из леса, жалобный голос:

– Ну, мальчики, перестаньте!..

Как ни странно, эта безумная, лихая мужская возня нас не сблизилась. Уже на другой день Коля явился в группу тем же прилизанным, послушным, воспитанным мальчиком, каким я привык его видеть. То ли ему нагорело за вчерашнее, то ли буйство было органически чуждо его вялой душе и он против воли поддался моему неистовству. Я не хотел смириться с его отступничеством, и едва закончились занятия и Анна Федоровна, забрав оставшуюся цветную бумагу, синдетикон и ножницы, выплыла из комнаты, я кинулся на него и стал валить. Это было естественное продолжение вчерашних мускульных игр, в которых он вел себя отважно и стойко, но Коля не принял боя и противно раскуксился. Партнерства не получилось. Тем сильнее потянулся я к дворовому хулиганью.

2

Конечно, в нашем доме жили разные ребята, были и тихони, как Муля, они не появлялись во дворе, их водили за ручку на Чистые Пруды, в садик Лазаревского института и другие безопасные места. Единый холуйский состав двух дворов нарушал лишь Сережа Лепковский, внук знаменитого актера, рослый, стройный, благородный и храбрый мальчик, способный постоять за себя. Впрочем, это только так казалось, потому что он смело шел на бой. Сережа не лез первым в драку и никогда не дрался по злобе, как остальные дворовые ребята. Для него каждая схватка была благородным поединком, дуэлью, но задирали его всегда ребята заведомо сильнее. Поэтому он неизменно оказывался бит. Он не обижался, не плакал, не грозился сквозь соплю из-за спасительных дверей своего подъезда, он утирал кровь, вымученно улыбался разбитым ртом и с обескураживающим добродушием говорил: «Твоя взяла». Его благородство никого не умиляло, скорее наоборот, как и должно быть в державе холуев.

Наш дом был известен в округе как Дом печатников, так называли в ту пору всех типографских работников без разбору. В Армянском и прилегающих переулках находилось несколько больших типографий, а во время революции в нашем доме располагался штаб революционных печатников. Но, конечно, тут были представлены и другие профессии: торговцы, ставшие после ликвидации нэпа красными продавцами – так, во всяком случае, именовал себя бывший палаточник Мельников, отец моего злейшего врага Женьки, были служащие почтамта, доживало несколько настоящих нэпманских семей, в год, когда началась первая пятилетка и коллективизация, главы этих семей отправились в Соловки, а мой отец на берег Лены, под Жиганск, он был всего лишь незадачливым биржевиком, с ним поступили мягче; украшали дом: артист Лепковский, седовласый, с зычным голосом, шофер грузовика Козлов в кожаной тужурке, кучер Потапыч с ватным задом – в первом дворе, глядевшем на Армянский, имелась конюшня, где хрумкали овсом два бывших рысака, Хапун и Магарыч. Когда-то на них ездила миллионщица Высоцкая (чаеоторговля), потом бриллиантщик Саматис, а затем какой-то советский чин с тонкими ногами, тесно обжатыми хромом высоких сапог. И вдруг все исчезло: чин в сапогах, кучер, лошади, а конюшню превратили в домашний клуб.

Мы жили в той части дома, которая выходила на Сверчков и Архангельский (позже ставший Телеграфным), но адрес писали по Армянскому переулку, хотя нас отделял от него другой двор. С самого своего возникновения советская власть наложила запрет на парадные двери и проходные дворы. И в тех, и в других виделась возможность бегства. Лишь в середине тридцатых открыли ворота на Сверчков, а перед войной отомкнули парадный ход. К этому времени уже всех поймали, и бежать стало некому.

По традиции ребятам двух смежных дворов полагается враждовать, но, вероятно, нас объединял общий адрес, мы жили мирно, а врага имели общего – девяткинских, населявших всегда бессолнечный, мрачный Девяткин переулок.

Двадцать восьмой год был переломным в жизни страны и в моей жизни: я пошел в школу, распалась немецкая группа, исчезли навсегда Анна Федоровна, Коля и Веня, Мулю я изредка мельком видел, но мы даже не здоровались, двор хмуро смирился с моим присутствием, и посадили отца. Перечисляю события по степени важности их в моей тогдашней жизни. Может показаться странным, что самое важное и трагичное я ставлю на конец, но так оно для меня тогда и было. Я не понимал, что такое арест, и даже немного гордился избранничеством отца, видя в этом какую-то его лихость и молодечество. «Отца посадили!» – небрежно бросал я дворовым ребятам и сплевывал в дыру от выпавшего молочного зуба. Они хмуро отмалчивались.

В новых приятелях – такими я их до поры считал – меня восхищало все: облик, столь непохожий на вылощенную, выхоленную гладкость моих коллег по немецкой группе, многие были стрижены под машинку от вшей и гнид, у всех нагнаивались прыщи, болячки, чирушки

на лицах, а руки усеяны цыпками; мне нравились их длинные штаны из туалъденера (я мучился от стыда в коротких) и такие же рубашки, не заправленные в штаны, а перехваченные пояском или ремнем, их странная угрюмость, не исчезающая, скорее усиливающаяся в играх, лаконичная матерная речь и виртуозное умение гонять колесо, чего я неимоверными усилиями тоже достиг. Речь идет о времени моей первой очарованности; в середине тридцатых, когда пришла пора отрочества, единообразие нарушилось, зачатки цивилизации проникли в наш странно замкнутый мир, появились свои франты, спортсмены, театралы, музыканты, авиамоделисты, уголовники, туалъденер был отменен, как маоцзедуновки в Китае после смерти великого кормчего, одни ребята стали к чему-то тянуться, другие, напротив, пошли на дно.

Странно, что в исходе двадцатых посреди Москвы эти пролетарские дети имели вполне деревенский вид. Я чувствовал себя среди них белой вороной. И что было непонятно: Женька Мельников, сын красного торговца, выделялся не меньше, может, больше моего – родители одевали его, как принца, он даже белые перчатки носил, за что его дразнили «пидорасом». Дразнить-то дразнили, а все-таки он был своим, равным, а я чужаком. Трудно объяснить, в чем это выражалось, но я на всю жизнь запомнил тот долгий, угрюмо не узнающий взгляд, каким меня пронзали, стоило мне хоть чуть высунуться. Этот взгляд означал: тебя терпят, ну и сиди, не рыпайся.

Боже, как мне хотелось заслужить их расположение! Я научился виртуозно гонять колесо с помощью загнутого на конце железного прута. Я стрелял из рогатки с меткостью Вильгельма Телля кусочками чугуна, отбитого от лестничной батареи. Бесстрашно воровал пустые бутылки – у нас во дворе находились громадные винные подвалы, был мастаком в фантики – в пристеночек и расшибалку, а в футбол и в факе (хоккей) меня брали в команду даже старшие ребята. Лишь в трех дворовых занятиях я не принимал участия: не играл в деньги, поклявшись маме, что хоть этот порок обойдет меня стороной, не гонял голубей – не умел, да и не было их у меня, и не ходил «трахать» восьмилетнюю Нинку Котлову на помойку. От этого меня отвращал какой-то темный страх. О сути столь частого на языке моих приятелей глагола я имел смутное и скорее комическое представление. Но от возможности проверить умозрительные построения нутро сжималось сладким ужасом. Тщетно добивался я у своего приятеля и соседа по квартире Тольки Соленкова, участника помоечных забав, что они делают с Нинкой. Похоже, он этого и сам не знал. Я понял лишь, что юные сладострастники пользуются ее ласками поочередно, как ремарковские солдаты.

О Тольке стоит сказать несколько слов. Маленького роста, но сильный, драчливый, редко музыкальный заика – когда пел, не заикался, – он проделал свою короткую жизнь в обратном порядке. До второго класса пил водку, напиваясь допьяна во время нередких домашних гульбищ, посещал помоечный публичный дом, а ушел на войну трезвенником и девственником. Он погиб при попытке бегства из Освенцима двадцати двух лет. Толька или не хотел или не мог открыть мне жгучую тайну. Но вскоре я убедился, что эта озорная любовь, голубиный гон, игра в деньги считаются как бы предметами факультативными, не обязательными для всех. Куда важнее было стыкаться, к чему я не имел склонности, хотя был физически развит (дед приучил меня к турнику и гантелям) и силен для своих лет. Я любил возиться, бороться, чем мы занимались с Колей в театре, но двор признавал только кулачную расправу. А мне не хотелось причинять никому боли, и я всячески избегал столкновений. Если же они становились неизбежны, я припечатывал противника к земле простейшим борцовским приемом, что вызывало удивление, смех, но не чувство обиды. Они видели и этом уклончивую, хитрую слабинку, а не превосходство. Лишь одному Тольке Соленкову, которого я искренне любил, удавалось завести меня на драку. От неумной злобы маленького, всех и вся ненавидящего заики некуда было деваться. В ярости отчаяния я быстро избивал его, а потом, глотая слезы, просил прощения.

Но мне хотелось дружить, а не драться, и я старался завоевать эту дружбу не разбитыми носами, а поступками товарищества. Я затаскивал к себе в дом дворовую элиту – братьев Архаровых, Ковбоя, Юрку Лукина, Пашку Моисеева, Борьку Соломатина и выкладывал свои сокровища: набор акварельных красок, цветные карандаши «Фабер», металлический конструктор – мекано, лобзик и настоящий пистолет «монте-кристо», который в десяти шагах убивает человека. Каждый выбирал себе занятие по душе. Вовка-Ковбой оказался художником, он блестяще нарисовал убийственный «монте-кристо», щедро расходуя редкую серебряную краску, Юрка Лукин заинтересовался мекано и сразу стал собирать самые сложные конструкции, вроде карусели, до которой я за год не добрался, Борька Соломатин увлекся лобзиком, Пашка Моисеев – «Томом Сойером», а братья Архаровы – воровством. Неудивительно, почему после двух-трех визитов все мальчишки, кроме Архаровых, перестали ко мне ходить, они знали, что братья воруют, и не хотели, чтобы на них пало подозрение. Выдать воришек по кодексу дворовой чести они не могли, кроме того, старший из братьев, Витька, считался в доме первым силачом. Постепенно меня освободили от красок, карандашей, лобзика, конструктора и, наконец, от пистолета «монте-кристо», убивающего в десяти шагах человека. Я остался с «Томом Сойером», который в глазах братьев никакой ценности не представлял. Я давно понял, что меня обворовывают, но крепился, никому не говорил, обманывая себя надеждой, что братья берут чужие вещи просто поиграть. Опустошив мои закрома, братья не стали дожидаться, пока их выгонят, и сами прекратили визиты. Любопытно, что, наподлив, они не исполнились ко мне священной ненависти, как обычно бывает. Витька даже заступался за меня во время дворовых разборок.

Куда хуже относились ко мне не задержавшиеся в доме гости. Они злились на мое богатство и еще больше на то, что я его так бездарно спустил.

Почему-то все эти ребята запомнились мне в разном возрасте. Костю Архарова я вижу совсем заморышем, каким он и был в пору нашей быстро погасшей дружбы, затем он стал набирать кость и мясо и почти сравнялся со своим братом-атлетом, но я при всем усилии не могу вспомнить ни его заматеревшей внешности, ни нового характера. В вороненую пору он отличался телячьей ласковостью и какой-то беспомощной добротой, воровать его заставлял брат, у которого он был в рабстве. А вот Витьку я совсем не помню шкетом, он будто перепрыгнул из детства в юность, миновав подростковый возраст; в четырнадцать лет рослый, волоокий, чуть малахольный красавец сводил с ума фигурально – всех домработниц нашего дома, буквально – билетершу киношки «Маяк» возле Чистых Прудов. При виде Витьки она с опрокинувшимся лицом задирала юбку, под которой даже зимой не было трусов. Она делала это прилюдно, раз на глазах его семьи, явившейся в полном составе смотреть «Пат и Паташон – путешественники». И Витька, эта орясина, убежал в слезах. Билетерша являла собой клинически чистый образ крайне редкого женского эксгибиционизма. Сколько раз возмущенная публика требовала уволить «нахапку», так квалифицировался странный недуг, но коллектив неизменно брал ее на поруки, обещая перевоспитать. Она проработала в «Маяке» до самого его закрытия, бедный Витька должен был терпеть свой позор, потому что в самой дешевой киношке Москвы шли самые лучшие немые, а потом и звуковые фильмы. В последний раз она продемонстрировала Витьке увядший сад пыток и страстей в начале войны, с которой он не вернулся. А работал Витька перед войной в угрозыске, искупая грехи молодости.

Другого красавца, сероглазого смуглого Вовку-Ковбоя, я помню в отроческом цветении, когда он, оправдывая свою кличку, что ни день поражал дом невероятными подвигами: то спустится с крыши по водосточной трубе, то перепрыгнет с балкона на балкон, то подерется с дюжим сторожем винного подвала, то, угнав из конюшни Магарыча, проскачет на нем до немецкой церкви в Старосадском переулке.

Тоже сильного, мог держаться против самого Витьки, кривоногого Юру Лукина я помню лишь на футбольном поле – потное, веснушчатое, поглощенное единой страстью, голое лицо

крупного мальчика, которого взрослые по каждому поводу оскорбляют «здоровенным оболтусом». Здоровенный – это так, но вовсе не оболтус: в мгновенном промельке вижу бледное, в пятнышках погасших веснушек лицо студента-очкарика, под мышкой туго скатанный в трубку чертеж.

А вот мальчика Пашку Моисеева начисто вытеснил демобилизованный, но не расставшийся с формой, только погоны спорол, матрос, встретившийся мне на улице Горького в годовщину Дня Победы. Загорелое печальное лицо под белой бескозыркой, треугольничек тельняшки в распахе ворота и много-много орденских ленточек на рубашке. Я узнал его каким-то наитием, в этом загадочном меланхолическом военморе не сохранилось ни одной черты расеянного увальня-книгочея.

А Борька Соломатин остался для меня глистой в огромной кепке. Закусив язык и вытаращив глаза, он следит за извилистым ходом тонкой лобзиковой пилки, ноздри втягивают сытный запах фанерных опилок. А ведь я видел его учащимся техникума, записным кавалером и даже молодым отцом, каким он умудрился стать в восемнадцать лет. Но такого Борьки для меня нет, есть громадная кепка, а под ней до самого пола нечто длинное, извивающееся.

Вспоминая произвольно о своем дворовом детстве или специально думая о нем, как это происходит сейчас, я невольно свожу в реальном пейзаже тех лет, в наших играх, драках, спортивных схватках, редких, но все же случавшихся разговорах людей разного возраста, то есть таких, какими они живут в не насилюемой памяти. Впрочем, я все равно не смог бы привести их облик в согласие с тем временем, которое мне вспоминается. Но я не чувствую дискомфорта, когда вижу, как ножичек поочередно кидают малыш Костя, его фундаментальный брат на распутье между уголовщиной и уголовным розыском, смуглый подросток Ковбой, меланхолический герой-военмор Моисеев и глиста в кепке Соломатин.

Круг моей любви к дворовым ребятам был гораздо шире, чем в этом перечне, он включал ребят, и явно ко мне не расположенных, хотя причина их нерасположения оставалась до времени темна для меня: Кукурузу с мрачным взглядом исподлобья, вздорного задиристого Женьку Мельникова, заносчивого Курицу, всегда нацеленного на драку, ему нужно было все время доказывать, что вопреки прозвищу он парень боевой и бесстрашный, даже презируемого всеми задумчивого дровичу Жорика...

3

Двор все больше значил для меня, потому что со школой, о которой я так мечтал, романа не получилось. Я поступал в другую школу, бывшую Виноградова, с устоявшейся высокой репутацией. Она помещалась в красивом старом доме с высокими тяжелыми дверями напротив Покровских казарм. Мама взяла меня с собой, когда относила заявление о приеме, и я сразу влюбился в эту школу, отвечавшую солидностью сноси и чинностью моему представлению о гимназии. Волновала близость величественных казарм, куда я с полной уверенностью, хотя и без всяких оснований, поместил Самагидский полк, в котором отец проходил действительную службу. И меня не просто огорчило – потрясло, когда в канун начала занятий нам объявили, что мои бумаги переданы в 40-ю школу в Лобковском переулке и там я должен учиться. Решение района обжалованию не подлежало, оно диктовалось заботой о безопасности детей, живущих по другую сторону Покровки, – па пути в школу нам пришлось бы переходить трамвайные пути. То же самое было сказано родителям моего старого друга Миши и нескольких других мальчиков, живших по соседству с нами. Трогательную эту заботу несколько снижало то обстоятельство, что по пути в Лобковский нам предстояло тоже топтать через рельсы, по которым бегала любимая москвичами «Аннушка», да еще пересечь кишачий хулиганьем Чистопрудный бульвар. Здесь и крылась настоящая причина перевода нас в 40-ю школу, самую хулиганскую и не успевающую в районе, несмотря на прекрасный подбор учителей, многие из которых преподавали здесь еще во время знаменитого Фидлера. Нами хотели озонировать смрадный дух Чистопрудной бурсы. Меня не могло примирить с этой школой даже то обстоятельство, что фидлеровцем был мой отчим, его перочинный ножик когда-то вволю потрудились над терпеливыми телами старых парт, не трогала и мемориальная доска, удостоверявшая, что в 1905 году здесь находился революционный штаб.

Со временем состав учеников значительно изменился: шпана отсеклась, пришли хорошие ребята из новостроечных домов, и школа, дважды сменившая свой номер, стала одной из лучших, если не лучшей в районе. Но пока это случилось, мальчики, призванные сюда для оздоровления атмосферы, своими боками и загревками оплачивали находчивый педагогический эксперимент.

И я все сильнее привязывался к двору.

Меня с ранних лет отличала крайняя чувствительность в отношениях с окружающими. И я знал это, хотя не мог назвать подсознанием те тайные глубины, где возникало безошибочное чувство человека и того, как он ко мне относится. Но с этим свойством странно сочеталась редкая способность к самообману. Уже все зная, все понимая, видя до дна, я мог в два счета заморочить себе душу и голову, если не хотел правды. А не хотел я ее частенько, ибо в тайном тайных прозревал великую путаницу жизни. И все-таки истинное знание просверкивало порой даже самый густой, мною же напущенный туман, и, отзываясь болезненным вздрогом, сжатием души на больную правду, я быстро избавлялся от нее. Так вот, тайное чувство не раз подсказывало мне, что я не стал своим во дворе, что не про мою честь его истинная жизнь – я сторонний наблюдатель не только голубинового гона, игры в деньги, эпохальных драк с девятикинскими, но и того, в чем мое партнерство ценится: футбол и факе. Я выключен из общего переживания победы, поражения, азарта, я – наемник. Вместе с тем я коренной житель дома, к моему деду нередко обращаются за медицинской помощью, и он оказывает ее безвозмездно, я никому не наступаю на ноги, и наконец, без меня не выиграешь в футбол у Старосадских, в факе – у златоустинских. Приходится терпеть, как терпит отара приبلудную овцу. А вернее, терпят потому, что старшие ребята не дают меня на правеж.

Чужак. Чужак, что бы я ни делал. Мне не помог прыжок с двумя парашютами со второго этажа. Легкое сотрясение мозга, каким я оплатил свой подвиг, не было занесено мне в актив.

Ничего не дал и выстрел из рогатки по крупу громадного битюга, перевернувшего от укуса такого слепня платформу с бочками. Не улучшила моего положения кража ящика с пустыми бутылками. Кто-то настучал, и, когда я возвращался после факе на коньках домой, сторож настиг меня, избил и почти оторвал ухо, которое пришили на место в поликлинике. Была такая игра: перебегать улицу под носом у автомобиля. Меня сшибло носорожьим рылом такси «рено» и протащило по асфальту. Но, когда я на другой день вышел во двор с забинтованной головой, никто и внимания не обратил. А Курица целую неделю бахвалился вырезанным на шее чирьем. Я уже подумывал, не отправиться ли в помоечный дом свиданий для скрепления братских уз с многочисленными любовниками Нинки Котловой, но Соленков сказал, что она совсем скурвилась: не дает.

Затем я решил, что меня презирают за неучастие в драках. Мое миролюбие принимают за трусость, а этого не прощают в мужской компании. У меня была болезнь молодого Горького: невозможность поднять руку на человека. Но Алексей Максимович не мог нанести даже ответного удара, я же на это способен, в чем не раз убеждался мой друг Соленков. Надо драться.

Кукуруза ничего не знал о моем героическом решении, когда в очередной раз стал приставать ко мне, мешая гонять колесико. В таких случаях я либо прекращал свое занятие, либо уходил в другую часть двора. На этот раз нашла коса на камень, я продолжал выписывать вензеля, ускользя от Кукурузы. Он хотел вырвать у меня железный прут с крюком, каким я управлял чугунной печной выюшкой, я оттолкнул его. Он поскользнулся и упал. И странное дело, то ли ушибся, то ли оторопел от непривычного отпора, но, поднявшись, стал отряхивать курточку, будто забыл о моем существовании. Восхищенный своей легкой победой, я похвастался кому-то из ребят, что навтыкал Кукурузе. Это слышал зловредный Женька Мельников и тут же насплетничал самолюбивому богатырю. Кукуруза отложил все дела – он искал партнеров для расшибалки, – деловито направился ко мне, сжимая в карманах страшные кулаки.

– Ты навтыкал Кукурузе, да? – сказал он почти ласковым голосом.

Его вкрадчивый голос не на шутку испугал меня. А то, что он добровольно назвался своей кличкой (нигде картавое «р» не звучит так раскатисто, так горохово, как в слове «кукуруза»), превратило мой испуг в панику. Я хотел бежать – некуда, мы в кольце ребят. Язык прилип к гортани, и прежде чем я успел пролепетать какое-то оправдание, он ударил – с «хеком», как мясник. Я успел отдернуть голову, и сокрушительный удар вместо подбородка угодил в узел туго повязанного шарфа. Я с удивлением обнаружил, что жив и что мне ничуть не больно. Мой ответный удар был ослаблен остатком почтения к одному из хозяев двора. Я угодил в скулу. Ощущение незащищенной плоти под кулаком освободило мою душу для более глубоких чувств. Я стал бить и бил не только Кукурузу, а всю несправедливость, упорно отторгавшую мою любовь двора. Драки не получилось, это было избиение. Я расквасил ему нос и губы, но, поскольку Кукуруза не заявил ритуальным ревом о своей капитуляции, продолжал лупить его по мордасам. Кровавые сопли забивали ему сопатку, он отсмаркивался, пятась и прикрывая лицо локтями. Оступившись, он упал, уронив с головы шапку, а когда подымался, я изо всей силы наподдал ему ногой в зад. И тут Кукуруза разревелся – не от боли, от унижения. Громко, не стесняясь, обрывал свой позор. Он поплелся домой, забыв о шапке и обсмаркивая снег кровью. Кто-то из младших ребят поднял его бедный трех и побежал за ним. Укол жалости на миг пронизал мое ликование.

Весь двор видел его поражение, но тщетно ждал я, когда «герольды начнут славить мой удар». Трубы молчали, уста не отверзлись. Можно было подумать, что никакой драки не было и Кукуруза не валялся на желтом от смерзшейся лошадиной мочи снегу. А ведь хорошие драки обсуждались на помойке, рассказ о них переходил из уст в уста, обогащая дворовый фольклор. Но этому единоборству явно не суждено было ни войти в летопись, ни стать легендой.

Творя собственный мир и в нем находя если не утешение, то надежду, я придумал, что по сказочной традиции должно быть три испытания, и только после этого двор распахнет мне свои объятия.

Если Кукуруза считался самым сильным в нашей возрастной категории, то самым заносчивым и драчливым был вечно цепляющийся ко мне Женька Мельников, сын «красного торговца». Хорошо бы для второй проверки получить этого клейкого гада в белых перчатках. Но я не умел завязывать драку, а Женька после позора Кукурузы едва ли захочет меня тронуть. Так думал я, плохо представляя зловерный Женькин характер. Кукуруза еще стеснялся выйти во двор, а Женька открыл боевые действия. Он нарочно выбрал тот час, когда двор уже полнится, но никто еще не нашел себе занятия, ему нужны были зрители. Повод для издевательства подал я сам.

– У нас на лестнице опять лампу кокнули, – принес я свежую новость.

– Вампу? – переспросил Женька с простодушным видом. – А что такое «вампа»?

Кругом ухмылялись. Я сник, крыть было нечем, я действительно произносил твердое «л» как «в».

– Вампа, вуза, вошадь, вуна, – будто пробуя слова на вкус, с лакомым видом произносил Женька. – А ты супчик вожкой ешь? Летом на водке катаешься? Чего гвазами хвопаешь?

Я молчал. В правой руке он сжимал белую перчатку, как будто собирался вызвать меня на дуэль. Но вопреки кодексу чести он не бросил перчатку мне под ноги, а хлестнул по лицу. Ответ тоже был далек от светских правил: в рыло, в зубы, в глаз и на закуску по шее. Он мгновенно зашелся в плаче – на такой высокой, пронзительной ноте, что встревоженные битюги повелись в оглоблях и громко охнули, сшибившись, пустые бочки. Задрал голову, чтобы не испачкать юшкой светлый шарфик, Женька покинул ристалище.

Я победоносно огляделся. Никто не смотрел в мою сторону. Кто обменивался фантиками, кто прямил железную погонялку колесика, кто целился из рогатки по воробьям, обсевшим свежедымящуюся кучу, кто наблюдал голубиную стаю в поднебесье. Никому не было дела до нашей стычки. Но я видел их кривые ухмылки, когда Женька издевался над моим глухим «л». Кстати, у Ковбоя тоже были неладные с этой буквой, но он мог сколько угодно «вавакать», где надо «лалакать», попробовал бы кто усмехнуться.

В чем же дело? Может быть, Женька слишком мелкая дичь и после победы над Кукурузой расправа с ним ничего не стоит? От меня требуется нечто куда более героическое. Я спровоцировал на драку Борьку Соломатина из старшей возрастной группы и разделал его под орех. Это равносильно тому, чтобы средневес побил тяжеловеса. Обычно такие схватки запрещены. История бокса знает лишь два случая, оба связаны с победами великого Огуренкова над Навасардовым. Я опередил нашего многолетнего чемпиона-средневеса, однако мой подвиг не вошел в героическую летопись. Оказывается, я нарушил главный закон двора: драки допускаются лишь между одногодками. Вроде бы этим защищены маленькие и слабые. Ничуть не бывало: закон выгоден только старшим, они могут беспрепятственно чинить суд и расправу над мелюзгой без риска нарваться на неожиданный отпор.

Эту истину открыл мне Толька Соленков, после чего я довольно долго не появлялся во дворе, давая выветриться памяти о моем неосмотрительном деянии. Но когда сошел снег и маленький каток посреди двора превратился в футбольное поле, когда выставили рамы и гулкий, свежий, пахнущий весной мир ворвался в комнаты, я поверил обновлению, смывающему старые грехи, и спустился во двор. Можно подумать, что меня там только и ждали. Не успел я сойти с крыльца, как ко мне подскочил Курица и, ткнув костлявым плечом в грудь, сказал загадочно и страшно:

– Ты что развоевался, жид?

Суть вопроса от меня ускользнула, настолько ошеломляющим было короткое слово «жид». Меня так никогда не называли, да я и не думал о себе как о жиде, вообще не задавался

вопросом, какой я национальности. Я знал, что мать у меня русская, а отец еврей, выходит, я вообще без национальности, ни то ни се, что меня вполне устраивало. Я не знал, что быть евреем стыдно, а вместе с тем сам участвовал в травле еврея – врача Лесюка из соседнего подъезда. Он был далеко не единственным евреем в нашем доме, но только его упорно преследовали дразнилкой «Зида маленькая». Он вовсе не был коротышкой, худощавый человек среднего роста с энергичной поступью, хороший, безотказный врач, которого куда чаще, чем моего деда, тревожили жильцы нашего дома своими хворостями. Но деда никогда не задевали, к нему относились с почтением. Сановитый, внешне очень уверенный в себе, дед был потомственным москвичом, популярным врачом, одним из лучших диагностов города. И он крепко сжимал в руке массивную трость с золотым набалдашником, такого не заденешь. А на Лесюке лежал безнадежный налет местечковости, что сразу улавливают чуткие русские носы, даже детские. Все эти соображения принадлежат куда более позднему времени, а тогда, остановленный Курицей, я просто растерялся настолько, что не расслышал угрозы скорой расправы. Зато мгновенно рухнувшей душой я понял, что жид – это плохо, хуже некуда, что сейчас случилось непоправимое, кончилась прежняя безмятежная жизнь. И я не ошибся.

В каком-то полусне я отстранил Курицу и пошел к садику, служившему попеременно то катком, то футбольным полем. У самого входа на скамейке сидел старший брат Курицы Лелик и зашнуровывал свеженадутый футбольный мяч.

Тот машинальный, но силовой жест, каким я убрал Курицу с дороги, поубавил у него пылу, но в присутствии брата он снова осмелел:

– Ты зачем Соломатина тронул?.. Думаешь, тебе сойдет?..

Значит, меня будут бить за Борьку Соломатина, а не за то, что я жид? Это принесло облегчение, и когда Курица с молчаливой подначки брата (я заметил, как тот ему подмигивал) наконец-то бросился на меня, я и не думал сопротивляться. Почему-то Курица избрал самый ненадежный способ расправы со мной – борьбу. Я поддался и упал на землю, Курица сел на меня верхом и трижды вдавил мою голову в землю. Он не хочет драки, боится, понял я, просто выполняет общественное поручение. Было ничуть не больно, и грела мысль, что я могу в два счета разделаться с Курицей.

Курица слез, и я поднялся.

– Заработал? – сказал он мстительно.

– Давай деньги, – проворчал я.

Лелик захохотал, восхищенный моим остроумием. Он меня боялся. И Курица боялся, и я мог врезать им обоим, несмотря на все дворовые запреты, если б не одно парализующее слово – жид...

– Мама, что такое жид? – спросил я, вернувшись домой.

– То же, что и еврей, только ругательное, – чуть удивленно ответила мама. – Неужели ты сам не знаешь?

– Нет, – сказал я со странным ощущением, что это и правда, и ложь.

Я знал, что такое слово есть, но не думал о нем. Были и другие известные мне слова, смысл которых темен, да я и не старался узнать его. Мне это ни к чему. Но когда я дразнил Лесюка «Зида маленькая», разве я делал ему комплимент? Нет, я высмеивал его. Но центр тяжести, коли так позволено выразиться, приходился на слово «маленькая», а что такое «зида», я как-то не задумывался. Если рыжего кличут Рыжик, его обижают? Когда кличка присохла, нет. В каждом дворе есть Рыжик, Косой, Хромой, Жиртрест. Ну, а Лесюк – Зида. А кто ж еще? Да не рассуждал я так, дразнился просто за компанию, чтобы быть, как все.

Однажды Лесюк все-таки не выдержал. Он остановился посреди весенней лужи в своих разношенных ботинках, обвел нас усталыми, воспаленными глазами и тихо сказал:

– Чем я виноват перед вами, дети?

Был миг тишины, а затем опять хохот, гик, улюлюканье: «Зида маленькая!.. Зида маленькая!..» Но моего голоса больше не было в хоре...

– А это плохо? – спросил я мать.

– Чего же хорошего?!

Я не понимал ее веселого настроения, разговор шел об очень серьезном.

– А ты кто?

– Русская. Ты дурачишься?

– Так почему я жид?

– А кто же? Жид пархатый, номер пятый, на веревочке распятый!

Почему ей так весело? Неужели она не понимает?..

Мама, в которой слились две хорошие крови: известного на Украине старинного рода Красовских (по отцу) и столбовых дворян Мясоедовых (по матери), подтверждала открытие Пауля Вайнингера, что антисемит – этот тот, в ком есть хоть доля еврейства, или физического или психологического. В матери не было ни того, ни другого.

– Зачем же ты вышла замуж за еврея? – спросил я.

– Вот те раз! Ты хотел бы иметь другого отца?

Я не хотел этого. Я был к нему вполне равнодушен в раннем детстве, ибо видел его очень мало и не чувствовал интереса к себе, но в пору, о которой идет речь, он уже получил свой первый срок ленской ссылки, я жалел его, и это было началом той любви, которая и сейчас живет во мне неизбывной болью.

– Нет... А зачем было рожать меня от еврея?

– А какая разница? – сказала мать все еще беспечно. – Ты крещеный. – И тут же погасила вспыхнувшую было надежду: – Жид крещеный, что вор прощенный.

– Вот видишь! – сказал я с отчаянием. Мать не заметила интонации.

– А ведь Дальберги не были евреями до революции, – задумчиво, словно это впервые пришло ей в голову (а наверное, так оно и было), сказала мать. – Они лютеране. Уже отец твоего деда был директором гимназии в Москве. Кем были военные Дальберги, не знаю. Может, даже православными. Один вошел в историю – генерал-майор, начальник порохового запаса в Ревеле при Петре. Он не то героически защитил этот запас от шведов, не то героически изорвал. А совсем недавно был генерал-лейтенант Дальберг, и тоже вошел в историю: лихо подавлял крестьянские бунты. Вот кто мне по душе! А были еще чемпион Германии по шахматам и французский маршал. Это огромная и очень интересная семья, они в родстве с музыкантом Блуменфельдом и философом Гербертом Маркузе, он Марин двоюродный брат.

Все эти сведения меня ничуть не радовали. Пусть они выдумывают, взрывают или держат сухим порох, пусть играют на роялях, скрипках, контрабасах, философствуют, становятся чемпионами, что мне до всего этого, если даже лучший из них не сумел подавить самого главного бунта, сделавшего из меня еврея?

Какой-то выход брезжил все-таки в революции, меняющей людям национальность. Надо сделать еще одну революцию и превратить всех евреев в русских. Я высказал маме свою мысль.

– Ты не понял. До революции люди делились не по нациям, а по вере: православные, католики, протестанты, иудеи.

Я вдруг сообразил, что мы живем на скрещении всех вер: в Армянском – церковь Николы в Столпах, в Старосадском – кирха, в Милютинском – костел, в Спас-Глинищевском – синагога.

– Если ты ходил в любую церковь, кроме синагоги, ты в полном порядке, а если в синагогу, должен был жить в черте оседлости.

– Это где?

– Ну, в Бердичеве... в Бобруйске, – мама явно не была сильна в еврейской географии, – еще в каких-то местечках.

– И они все ездят в Спас-Глинищевский?

– Нет, там московские... Какой-то процент евреев допускался в Москву. Была норма в гимназиях, в университете... Да я сама толком не знаю, что ты ко мне пристал?

– До революции было лучше, – сказал я со вздохом.

– Что случилось? – Лицо матери стало серьезным, наконец-то до нее дошло, что я спрашиваю неспроста.

– Курица называл меня жидом.

– Ну, и дал бы ему в морду.

– Попробуй дай...

– Вот не знала, что мой сын трус, – искренне огорчилась мать.

– При чем тут трус? – безнадежно сказал я, уже предвидя, что стану трусом. – Разве сладишь со всем двором?

– Ты что, один такой?

– Какой?

Ответа не последовало. В матери происходила какая-то внутренняя перестройка.

– Вот не ожидала, что у нас возникнет такой разговор. Твои самые близкие друзья – евреи, наши знакомые – почти сплошь евреи. Разве это плохие люди?

Я слушал ее с ужасом. Мне никогда не приходило в голову, что я окружен евреями. Я стал называть про себя фамилии моих товарищей, фамилии тех мужчин, которые делились на поклонников мамы и на друзей семьи, – безрадостная картина. Значит, евреи не растворены в общей людской массе, а образуют какую-то отдельность, общину, касту, и я должен находиться внутри этого круга, не посягая на то пространство, где сверкают Вовка-Ковбой, Юрка Лукин, Сережа Лепковский – мои любимые герои, и на то, где ползают такие гады, как Женька Мельников, Кукуруза, Курица с Леликом, а мне не хочется жертвовать даже ими. Только сейчас мне открылась схожесть людей маминого круга, казалось бы, таких разных: кто тихий, задумчивый, кто шумный, развязный, кто витающий в облаках, кто очень земной, они все несли в себе нечто такое, что объединяло их в единый клуб. Какое-то изначальное смирение, готовность склониться, их взгляд был вкрадчив, улыбка словно просила о прощении. Каждого из них ничего не стоило поставить на место. Раньше я относил это за счет интеллигентности, но теперь понял, что дело в другом. И чтобы получить подтверждение своему открытию, я спросил:

– Мама, а у тебя есть русские знакомые?

– Володя... – Мама подумала. – Саша. – И радостно: – Настя!

Ее неуверенность естественна: разгар дружбы с Маяковским относился к более ранним годам. Художник Осмеркин бывал у нас очень редко, а вот артистка-синеглазница Настя Цаплина действительно была маминой закадычной подругой. Но все эти интеллигенты были совсем другой закваски, даже самый скромный из них Осмеркин очень твердо попирали родную землю подметками старомодных башмаков с фестонами.

– А Сбруев? – напомнил я.

– Да, Витька тоже.

Рыжий Сбруев, ответственный работник, бывший чекист, стал часто бывать у нас в доме после того, как посадили отца. Я уже тогда знал, что через него ведутся какие-то хлопоты по облегчению отцовской участи. Я его очень любил. Слово «чекист» звучало совсем иначе, чем «гепеушник», от него веяло героической молодостью революции. И совсем не лишним был эпитет «бывший». Сбруев был огненно-рыжий, размашистый, веселый, с ослепительно белыми искусственными зубами, я почему-то думал, что у него фарфоровые челюсти. Принимала его мама чаще в комнате цветочницы Кати, моей бывшей няньки, возможно, ей не хотелось, чтобы пили на моих глазах. А каждый приход Сбруева сопровождался выдающейся пьянкой. Выпив, он пел, вернее, орал на всю квартиру:

Сидит Сталин на лугу,
Гложет коневу ногу.
Ах, какая гадина —
Советская говядина.

И еще одну, которая нравилась мне еще больше:

По торгсинам, по торгсинам
Масло, сыр и колбаса,
А в советских магазинах
Сталин выпучил глаза.

Вот какие были либеральные времена! Почти каждое появление Сбруева означало перемену в отцовской судьбе — стараниями рыжего весельчака он неуклонно продвигался с диких берегов Лены в сторону цивилизации: Иркутск, Новосибирск, Саратов, и наконец, через четыре года Сбруев вернул его в Москву. Ненадолго, и года не минуло, как началась паспортизация, отцу отказали в московской прописке, и он вынужден был уехать па Бакшеевские торфоразработки, питавшие Шатурскую электростанцию. В тридцать седьмом его снопа арестовали: тюрьма, лагерь, другой лагерь, затем ссылка до конца дней. Все же он оказался счастливее своего бывшего избавителя — в тридцать седьмом году Сбруева расстреляли. Но не за частушки о Сталине, ему придумали участие в каком-то заговоре.

Но Сбруев, редко посещавший нас, и Настя, что ни день наполнявшая квартиру своим поставленным, зычным голосом и раскатистым смехом, не делали погоды — у нас был еврейский дом. Ничего не попишешь, Курица был прав, осадив развоевавшегося жида. Все по справедливости, и все-таки я сделал еще одну попытку к спасению:

— Скажи, а для евреев я русский?

— Что это значит? — не поняла мать и закурила — чуть нервно.

Я чувствовал, что разговор начинает раздражать ее, но не мог остановиться.

— Русские считают меня евреем, потому что у меня отец еврей, евреи должны считать меня русским, потому что ты русская.

— Нет, — сказала мать. — Мне лично начхать, какой человек нации, хотя я предпочитаю евреев, они веселее, умнее и воспитаннее. Но для русских людей, если у тебя есть хоть капля еврейской крови, ты еврей. Откуда такая чувствительность к инородной крови — непонятно. Русские понятия не имеют, кто они такие. Считают себя славянами. Но славяне так и были славянами, когда появились какие-то загадочные русы... Кто они? Смесь славян с норманнами? А кто такие сами норманны? Ни черта не разберешь. У евреев свое помешательство: если есть хоть малейшая возможность зачислить тебя в евреи, будь спокоен, ты их. Русских много, а у евреев каждый штык на счету.

Все эти рассуждения меня не интересовали, я понял главное и сказал с мечтательной болю:

— Если б ты родила меня от русского! Мать поперхнулась дымом. Несколько мгновений она глядела на меня, не мигая, вытаращив свои зеленые глаза, потом размахнулась и влепила мне пощечину.

Это было больно и непривычно, мать крайне редко поднимала на меня руку. По-настоящему она отлупила меня дважды, оба раза за катание на буферах трамваев. Ленке-Американцу с нашего двора эта забава стоила обеих ног. Он умер на операционном столе в полном сознании, бессмысленно и жалко прося врачей: «Только не говорите маме». Конечно, моя мама видела меня на месте несчастного Ленки, и суровость наказания не вызывала протеста. Но за что эта оплеуха?

Она сама рассказывала в доверительную минуту, что не хотела ребенка и пыталась избавиться от меня всеми доступными способами. Может показаться странным, что мать говорила с весьма юным сыном о таких вещах, но она была врагом всяческих запретов. Мне позволяли читать любую литературу, включая «Декамерон», Октава Мирбо и Золя. По правде сказать, все это было скучновато, особенно Золя, и темновато. Я расспрашивал маму и получал ответы, которые, давая мне известное представление об интересующем предмете, вместе с тем гасили чрезмерный интерес. Пол очень рано перестал быть для меня жгучей и стыдной тайной, но более доскональное изучение проблемы я по какому-то уговору с самим собой, конечно, подведенный к тому исподволь матерью, отложил на будущее. Я не очень понимал, почему мать хотела избавиться от меня, ведь принято считать, что рождение ребенка – радость. Но, любя мать, я сочувствовал ей и относился с неприязнью к себе – плоду, так упорно желавшему вылезти на свет божий. Наверное, в этом коренится мое нежелание иметь детей. С оплеухой, горящей на щеке, я с небывалой силой почувствовал, какое счастье не быть.

– Почему ты не сделала аборт? – сказал я с горьким упреком и тут же схлопотал по другой щеке.

В пору нашего разговора моя жалость к отцу-изгнаннику еще не стала любовью. В дни, когда мы были вместе, я считал, что люблю отца, но лишь потому, что так полагалось. Эдипов комплекс тут ни при чем – объектом моей страсти была Вероня, а не мать. Меня спрашивали, кого я люблю больше, маму или папу, я со всей серьезностью, ничуть не рисуясь, отвечал: Вероню. Сроднение с матерью началось на подходе к отрочеству. Вероня, простая душа, не смогла последовать туда за мною и безропотно уступила свое место.

С отцом мы были далеки хотя бы потому, что я его очень мало видел. Вечером он неизменно куда-то исчезал. Я не знал куда, да и не особенно интересовался этим. Я засыпал до его возвращения, но утром он всегда оказывался дома. Мы спали в одной комнате и просыпались одновременно. Чтобы не мешать, я давал ему уйти на службу, а потом уже вставал сам. По утрам я его ненавидел и боялся – и тут нельзя не вспомнить о великом венце, так раздражавшем сидящую в авторе «Лолиты» Чарскую. Меня пугало одно его движение: уже умытый, побритый, sprysnutyj одеколоном, причесанный, в брюках с волочащимися сзади помочами, он вдруг спускал штаны, расклячивал ноги и сильными движениями заправлял рубашку в фиолетовые подштанники. Было в этих движениях что-то вульгарное, запретное, опасное – нет, я не могу найти верных слов для объяснения моего ужаса и отвращения. Тут работало подсознание: не посылая в мозг картин, способных объяснить переживание, оно награждало меня страхом.

Потом отца не стало с нами, появилась жалость, годы ссылки, тюрем, лагерей, мучительных свиданий и тяжких расставаний превратили это чувство в какую-то большую любовь. Жизнь поставила нас в обратную зависимость друг от друга: я стал для него отцом, когда, неизлечимо больной, оголодавший почти до полного истребления плоти, он притащился из последнего лагеря в последнее изгнание. Я вытащил его из смерти и голодного истощения и дал восемь лет жизни, доставлявшей ему радость. Теперь я знал ему цену и внутренне склонялся перед ним, как положено сыну перед отцом. Такой маленький – гармонично маленький, какими были японцы, пока не научились растягивать себя, словно резину, – хрупкий, он душевно неизмеримо превосходил меня, мне и не снились его сила и мужество. То страшное существование, которое выпало ему на долю, не только не сломало его, но не лишило природной доброты, чудной благожелательности, веселости и остроумия. Он ничем не поступился в себе, даже не научился молчанию, не говоря уже о лжи. В проклятой Кохме, где он кончал жизнь, лишь доброхотство начальника спасло его от нового ареста. Он рассказал в отделе, как в лагере ели крыс. «Это зачем же?» – спросила с подлой интонацией сотрудница-стукачка. Отец понял, что попался, и с усмешкой принял неизбежное. «Чтобы не было грызунов», – прозвучал ответ. Его начальник, фанатичный огородник, смахнувший на отца всю работу и не желавший его терять, окоротил доносчицу. Но больше всего восхищала и поражала меня в отце

легкость, с какой он нес свое еврейство. В чем он черпает силы? Расспрашивать его не представлялось удобным, а постигнуть этого я не мог, как невозможно постигнуть подвиг человека, затыкающего своим телом амбразуру или взрывающего себя вместе с танком, как нельзя понять подвига камикадзе. Ты или можешь так, или нет, научиться героизму нельзя. Отец вел себя среди страшноватого населения Кохмы с простотой и непосредственностью Микулы Селяниновича, ничуть не играл в русачка. И ему сходило с рук.

Но я заговорил о том, что стало потом. А тогда, потрясенный открытием своей безнадежной неполноценности в глазах двора, которую мне до поры прощали за тихость и смирение, я не мог проявить той деликатности в отношении отца, какую требовал предмет разговора. Мать надавала мне по морде за отца, о чем я тогда в эгоистическом страдании своем не догадался.

В наплевательском интернационализме матери претворялась заповедь апостола Павла: «Несть эллин, несть иудей». Она не придавала значения антисемитизму, поскольку выросла и жила в той среде, где он не допускался. Демократизм матери, позволявший ей так легко сходиться с простыми людьми, находить мгновенно общий язык с татаринком старьевщиком или зеленщиком, был на самом деле высокомерием. В молодости она имела дело с настоящими князьями, а не с теми, чья первая забота: «Брука есть?» – и чувствовала себя с ними весьма комфортно. Ей очень повезло на видных людей. Через своего дядю Мясоедова, издателя театральной газеты, она узнала элиту мира искусств: от Собинова до Бунина, от Сумбатова-Южина до Леонида Андреева, от Балиева до Маяковского; через другую тетку, Марию Саввишну Морозову, ей открылся мир крупных предпринимателей-меценатов, государственных деятелей и художников, которых привечали в особняке на Спиридоновке; она дружила с московским губернатором – у меня сохранились их фотографии на прогулке, а генерал Рузский, за которого она подняла тост в ресторане, приезжал к ней с букетом цветов. Она видела больших людей без котурн и грима и научилась не переносить восхищение талантом на личность. В дальнейшем, попав через мою женитьбу в круг советских бонз, она обращалась с министрами, маршалами, генералами, как с дворниками, какими они и были. Я получил в отцы еврея, мог получить негра или водопроводчика, истопника, маленького актера и с таким же успехом – маркиза или герцога. Ни социальные, ни имущественные, ни национальные соображения ничего не стоили для матери, ей важно было лишь ее собственное отношение. Тут проявлялась известная ограниченность, впрочем, ни один человек не может вышагнуть из своих пределов. Она не представляла себе, что какой-то ее поступок мог подвергнуться осуждению. Впрочем, все это пустопорожние рассуждения сегодняшнего дня. Тогда я ни о чем таком не думал, а собирался в путь. Наверное, каждый мальчик хоть раз да уходит из дома, иные делают это дерзко и решительно, вон Татлин в Туретчину на паруснике сходил, других снимают с поезда или ловят на пристани, где они выжидают случая пробраться на корабль и спрятаться в трюме, полном крыс. Но здесь в поход собрался ручной зверек, заласканный домашними и павший духом при первом же столкновении с жизнью. Уже по моим сборам можно было понять, что до Америки я не доберусь и даже не ставлю себе такой романтической цели: беглец положил и чемодан вместе с парой белья, носками, лыжным костюмом школьные учебники и англо-русский словарь Боянуса (в ту пору я начал наниматься английским). Представление о том, где я буду ютиться, у меня было самое смутное: от котла, в котором варили асфальт, а ночью ютились беспризорники, до гостеприимной семьи Моставлянских в Кривоколенном переулке. Мне важно было уйти из этого опостылевшего дома, где меня никто не понимает: ни родная мать, ни Курица.

Мама, краем глаза наблюдавшая за моими сборами из другой комнаты, заметила Боянуса, поняла, что никакой опасности нет, и потеряла ко мне интерес. Напротив, Вероня в педантизме беглеца усмотрела серьезность намерений и устроила бурную сцену. Любопытно, что Вероня проявила гораздо большее понимание моего характера, нежели мама. Оглядываясь на прожитую жизнь, с войной, куда я попал с черного хода как сын репрессированного,

с целой флотилией любовных лодок, разбившихся о быт, жизнь разгульную, залитую вином, как гусарская скатерть, я вижу необычное сочетание в ней дионисийского начала с железной рабочей дисциплиной и строгой обязательностью в делах. Как бы я ни пировал и как бы ни был влюблен, я никогда не задержал сдачу заказанной статьи и обещанного рассказа в редакцию и очередного варианта сценария на студию. Когда умирала моя мать, а с нею умирал я сам, положенные четыре страницы в день сходили с моего письменного стола. Наверное, эта обязательность бессознательно выработалась во мне в противовес разрушительным силам, генетически заложенным в мою суть.

Даже в котле с черным густым варом я делал бы уроки и зубрил английские слова. Но из моего бегства ничего не вышло. Вероня, рыдая, отняла у меня сидор бродяги, сразу ставший буржуазным чемоданом, и увела на кухню пить чай из самовара с ситным хлебом. Мать, демонстрируя совершенную бесчувственность, так и не вышла из комнаты.

4

Через несколько дней мы с мамой помирились, как всегда, без выяснения отношений. Домашняя жизнь пошла своим чередом, но проблема, вставшая передо мной, осталась. Я не мог отказаться от двора. В зимнее время туда не так тянуло, вот только в факс меня вызывали играть. Ровно и толсто устланные снегом тихие переулки: Сверчков, Телеграфный, Златоустинские – являлись прекрасной лыжной дорогой, чуть не каждый вечер я ходил на дикий Чистопрудный каток, а по воскресеньям на уютный каток «Динамо» между Неглинной и Петровкой. Но в пору, о которой идет речь, уже были отворены рамы, и двор посылал в квартиру свои зазывные сигналы: стук футбольного мяча и стук деревянных мечей, звонки велосипедистов, крики голубятников, храп битюгов и звяк винной тары, звонкие весенние голоса. Но это все принадлежало очевидности, куда более волнующими были те таинственные вздохи и стенания, порой влетавшие в окно, природу которых я не мог установить. Это стенал и вздыхал сам двор, просыпаясь от зимней спячки, потягиваясь, хрустя суставами, прочищая горло и грудь. Сейчас его дыхание отдает пропитанной талым снегом землей, мокрым асфальтом, побежавшими по капиллярам ветвей соками, влажной шерстью битюгов и ядреным навозом. Скоро запахнет тополем, потом сиренью, у нас даже сирень росла во дворе по всем углам, правда, кисти ее соцветий были немощны, не махристы и от рождения тронуты ржавью, но так душисты, что глушили все иные терпкие запахи.

Когда темнело, двор становился частью ночи, частью единого безграничного пространства и оттуда выбирал звуки, неслышимые днем, и посылал их в открытую форточку. Не в уши, а прямо в захолонувшее сердце вонзались томительные, печальные, потерянные и влекущие паровозные гудки. «Радость-страданье – одно», – пел блоковский Гаэтан, и окружающим это казалось тайной. Мальчиком у распахнутой форточки, с мокрыми то ли от ветра, то ли от души глазами, и раскрыл эту тайну в паровозных гудках.

Каким наслаждением было сбежать по щербатой лестнице черного хода в теплый, благоуханный и вонкий, дивно гулкий и звонкий двор. Волнение первого выхода окрашивалось легким (беспокойством, тот ли это мир, которого ты ждешь. Курица дал мне исчерпывающий ответ: того мира больше не существует. И мне не восстановить прежних робких, но доверительных, почти равных отношении с дворовыми ребятами. Так и оказалось, да иначе и быть не могло. Возможно, они порой забывали о моем позорном клейме, ну, хотя бы, когда я, получив хороший пасс от Юрки Лукина и обыграв защитников, выходил один на один с вратарем и точным ударом поражал ворота, но сам я никогда не забывал. Гол не был для меня победной точкой в комбинации спортивной борьбы, а искуплением, конечно, не искуплением всего моего не знающего прощения греха, но коротким милосердным отпущением в постоянно творимой казни.

Что случилось со мной после экзекуции, произведенной Курицей? Я оробел? Можно сказать прямее – трусил. Понятно, что я трусил не кулаков хвастливого заморыша, а того, что за ним – все. А все – это не драка, даже не избиение, это то, что превратит тебя в плевок, растертый ногой по асфальту. Я узнал, что я недочеловек, и во мне сменилась кровь, я стал трусом. Представляю, как они издевались над моими потугами казаться своим! А мое настоящее место – с такими, как Муля, что и носа во двор не кажут. После того как распалась наша группа, я почти не видел Мулю, а ведь он жил в соседнем подъезде. Он не уехал из нашего дома, но стал невидимкой. А я не мог стать невидимкой, тогда лучше вообще не жить. Надо смириться, помнить о том расстоянии, которое отделяет таких, как я, от настоящих людей, и не переступать его. Меня же не гонят прочь, просто указали на место. Борька Соломатин – предлог, моя участь решилась, когда я отлупил Кукурузу, хотя это было законно – мы ровесники. Лишь покровительство Витьки Архарова и футбольное партнерство с Лукиным отсро-

чили расправу. Ведь мне дали понять, что победа над Кукурузой не вызвала восхищения. Я почувствовал это, но сделал неверные выводы: избил Женьку Мельникова и вздул Соломатина. Такое поведение парии, инородца не могли одобрить и самые снисходительные из дворовых предводителей. Со мной пора было кончать, что и осуществили не столько кулаками Курицы, сколько убийственным, как пуля, словом: жид.

Тогда я впервые задумался: за что так ненавидят евреев? За казнь Христа? Но ведь большинство ненавидящих – безбожники, им нет дела до Христа, к тому же еврея. Казнив Христа, евреи дали миру новую религию, которая стала и религией русских. И первых святых, Среди них Андрея Первозванного – покровителя Руси. А Богородица, заступница перед Господом, кто она?.. Еврейский нос, картавость, развязность – все это чепуха. В моем широком лице, чисто русском лице если и есть подмес, то татарский; и в моем произношении и во всей повадке не было ни следа еврейства, а разве это мне помогло? Есть еще много объяснений, по моему, иные из них, скрыто хвастливые, придуманы самими евреями: зависть к уму, ловкости, нахрапу, деловой сметке сынов Израиля. Это случается порой, и тогда на свет извлекаются старые штампы: гешефтмахеры, ловкачи, проныры. Но ведь русские люди куда сильнее завидуют друг другу. Не где-нибудь, а в России появилась поговорка: пусть у меня изба сгорит, лишь бы у соседа корова сдохла. И зависть эта отличается от зависти к инородцам лишь усугубляющим ее отсутствием ссылки на национальную испорченность.

Бездомность евреев – но разве это повод для ненависти? Скорее уж для сочувствия. Нечто тайное генетическое, заложенное в неевреях? Опять же нет. С какой охотой отдают должное музыкантам-евреям, шахматистам-евреям, певцам-евреям, артистам-евреям и евреям – зубным врачам. Остается одно – беззащитность. Беззащитность – значит, ничтожность. Это дарует сознанием своего дарового преимущества. Любой подонок, любая мразь, ни в чем не преуспевшая, любой обсевок жизни рядом с евреем чувствует себя гордо. Он король, орел, умница и красавец. Он исходит соком превосходства. Последний из последних среди своих, и вдруг без всякого старания, на которое он и не способен, некая подъемная сила возносит его выспрь. Эта подъемная сила идет от беззащитности евреев, пасынков его законной родины. Нет лучше карты для дурных правителей, чем играть на жидофобии низших слоев населения. А население в своей массе принадлежит к низам, даже те, кому светит семейная люстра, а не трущобная лампочка-сопля. Людей высшего качества ничтожно мало, они не образуют слоя, так, прозрачная пленка.

И все же почему я сразу капитулировал? А если бы побороться за себя, стать чем-то вроде дворового «верт-юде», то бишь «ценным евреем»? У меня не было личного опыта унижения, не было, как потом выяснится, родового опыта унижения, отчего же я так послушно стал рабом? Историков не перестает удивлять, почему в Варфоломеевскую ночь гугеноты, превосходившие католиков воинской закалкой и мужеством, позволили вырезать себя как баранов. На их глазах убивали жен и детей, а почти никто не оказал сопротивления. Они не сознанием, а всем телесным составом ощутили свое меньшинство, свою потерянность в нации, и это их парализовало. Другое дело – большевики, ведомые Лениным: оказавшись в меньшинстве, они сразу объявили себя большинством и уничтожили противников, которых было гораздо больше. Вот это политическая мудрость! Меня же, как и жертв кровавой ночи, обессилило проникшее в мозг, сердце, желудок, кишки, позвоночник, нервы сознание своей принадлежности к обреченному меньшинству.

Первый мой выход в качестве презренного нацмена ознаменовался странной сценой, которая могла бы придать мне бодрости, но вместо этого усугубила уныние и потерянность.

Когда я под вечер спустился во двор, там было пусто, только в скверике Курица маниакально вонзал ножичек в землю. То была пора повального увлечения игрой в «ножичек». Курице страстно хотелось хоть в чем-то стать первым. Все его бойцовские и спортивные притязания не имели успеха, в расшибалке и пристеночке он тоже не блистал, но вот ножичек

втыкал в землю довольно ловко. Сейчас он отрабатывал приемы, и я решил дать ему возможность обыграть меня.

– Здорово, Курица! – сказал я фальшиво-бодрым голосом.

Он вскочил, успев схватить свой перочинный ножичек, и, наставив его на меня, заорал истерично:

– Не подходи! Зарежу!..

– Что ты, Курица, очумел? – От такой встречи я совсем пал духом.

– Лелик! – завизжал он, как будто его режут.

Они жили на втором этаже, и Лелик с невероятной быстротой оказался возле нас. В руке он сжимал кухонный тесак.

– Только тронь его! – произнес он, кривя бледные губы. – Башку снесу.

– Что с вами, братцы? – чуть не плача, сказал я. – Что я вам сделал?

– Дай ему, Лелик! Дай ему! – надрывался Курица. Но Лелик был умнее брата и, похоже, понял недоразумение.

– Ладно, чеши отсюда! – приказал он, но голос звучал довольно миролюбиво.

Я понуро пошел прочь.

Думая об этом столкновении, я вторично убедился, что братья отчаянные трусы. Лелик был на два года старше меня, неужели, чтобы справиться со мной, ему нужен тесак? И до моего падения я не осмелился бы поднять на него руку. А если б осмелился? Надавал бы ему по первое число. Мне не по плечу лишь те, кто с мелюзгой не связывается: Витька Архаров, Лукин, Ковбой и, возможно, Сережа Лепковский. С остальными я справлюсь, они знают это, боятся и ненавидят. Их много. Против стаи я бессилен. Нельзя ни с кем связываться, надо уступать, отходить в сторону. Так постигал я науку трусости.

Я вернулся во двор, но двор ко мне не вернулся. Тут знали, что я укрощен, что есть слово, которым можно мгновенно поставить меня на место. Этим словом не злоупотребляли, я не превратился в нового Лесюка, но оно всегда было наготове. Зато меня стали часто задевать – старые враги и те, что раньше пикнуть боялись. Особенно обнаглел укрощенный в свое время Женька Мельников. Он задаривал старших ребят папиросами дорогих сортов и вел себя с развязностью фаворита. Он не пропускал случая дать мне подножку, толкнуть, наступить на ногу, я делал вид, что это дружеские подначки.

Лесковскому старцу Памве удалось кротостью безмерной укротить самого Сатану. Я был куда менее счастлив с Женькой Мельниковым.

Мне очень хочется в этих записях точно следовать тому, что было, а не играть по-прустовски в память, формируя с помощью соображения из реалий прошлого некий параллельный мир. Я сам не понимаю, зачем мне это надо, ведь документальная точность в главном вполне может соседствовать с полной свободой в подробностях и во всех второстепенных обстоятельствах, никто не схватит меня за руку. Но тогда это будет другая книга, может быть, живее, интереснее, а мне хочется написать именно эту. Коли уж решил быть верным прожитой жизни, памяти о ней, так не отступай с избранной дороги.

Для упругости и цельности повествования мне нужен пейзаж поздней весны, а мерзкая сцена между мной и Женькой Мельниковым видится сопливой ростепельной порой, значит, мое повествование сделает скачок почти в год длиной. А это нехорошо и художественно и по существу. Я будто делаю временной шаг назад – из апреля в март, на самом деле прорываюсь далеко вперед над странной пустотой года. Откуда этот провал памяти? Наверное, очень тусклой стала моя дворовая жизнь от постоянной неуверенности, опаски, уступок, оглядок. Не знаю, не помню. В памяти остался лишь хороший футбол – два-три раза, да бой на мечях между Сережей Лепковским и Юркой Лукиным, окончившийся грандиозной дракой. У Лукина сломался меч, и он совсем не по-рыцарски пошел врукопашную. Кончилось, как всегда, Сережиной улыбкой сквозь слезы: «Твоя взяла!» Но тут я был просто зрителем задних рядов. И это

не имеет отношения к моей теме, как и все последующее: деревня на три месяца, школьная осень и зима; нить сюжета снова завязывается слякотным мартом, когда особенно щемящи залетающие в форточку паровозные гудки и ты смутенно чувствуешь, что стал старше. Может быть, у других это иначе происходит, а меня тревожное ощущение возрастного сдвига постигает ранней весной.

Наверное, то был выходной день, пустой, тягостный, когда не хочется сидеть дома – надо же реализовать свободу – и на улице делать нечего. Талый снег, лужи, уже не замерзающие, но подернутые какой-то шершавой корочкой, способной выдержать на себе умятую в плоский круг консервную банку, которой гоняли зимой в факе; серые бороды сосулк лишены блеска, солнца нет, и тусклое бесцветное небо лежит прямо на крышах; иногда по водосточным трубам с грохотом рушится наледь, ноги промокли, знобко, занять себя нечем, а упорно не идешь домой, надеясь невесту на что. Мы слонялись по двору, то соединяясь в группы, то рассеиваясь для персонального наблюдения за битюгом, выкладывающим ядреные дымящиеся шары, или вороной у пожарной лестницы, полирующей нос о перекладину, или еще за чем-то столь же содержательным. И в течение всего этого неприбранного, тягостного и не отпускающего от себя дня Женька Мельников настырно придирался ко мне. То ли на него погода действовала, то ли он тоже перешел в другой возраст и хотел получить по старым долгам. В нем не было импульсивности Курицы, который насккивал на врага, никак не подготовив атаку словесно. Даже самые тупые и темные ребята никогда не начинали драку, не обменявшись традиционным: «А фигли?», «Да не фига. А фигли ты?», «Да не фига!», все время меняя интонацию, как мастеровые у Достоевского, сумевшие провести захватывающую беседу с помощью одного-единственного слова. Те, что поразвитее и поумнее, успевали вылить на противника ушат упреков и оскорблений, что психологически правильно, ибо это деморализует. Но Женька цеплялся ко мне как-то не по делу, и мне легко было парировать его придирки без ответных обид. Похоже, он сам не мог толком разогреться. Но в близости ранних мартовских сумерек (иды марта наступили, но не прошли) он нащупал тему, которая меня задела и смутила. «Тебя нянечка в ванне моет?» – спросил он громко, чтобы все слышали. Вероня действительно купала меня, значит, мне было не больше двенадцати лет, в тринадцать пришли первые содрогания пола, а с ними стыдливость – золотое детство кончилось.

Тогда я еще не стыдился Верони, на руках которой вырос, но Женькин тон подсказал мне, что нельзя в этом признаваться, и я довольно неискусно – только учился врать – сделал вид, будто меня смешит его дикий вопрос. «Ври больше!» – сказал он с той необъяснимой, мгновенно раскалившейся добела ненавистью, что потрясала и обессиливала меня, как никакая реальная опасность. Тогда я собирался, начинал контролировать себя и порой ускользал благополучно. Но когда видел, что меня ненавидят, а это составляло такой страшный контраст привычной атмосфере дома, атмосфере любви, я терялся до утраты разума. «Ври больше! – повторил он. – Моет тебя нянечка – пониже пупка, повыше колен». Все захохотали, а я, балда несчастный, тупо соображал, где меня моет Вероня, наконец понял, что имел в виду Женька, но не оскорбился, поскольку не считал это стыдным. Мочалка в руках Верони не обходила мой крантик, но для меня прикосновение к этому месту ничем не отличалось от всех остальных. У Женьки был несоизмеримо больший сексуальный опыт, он был верным клиентом Нинки Котловой.

Я не нашелся, что ответить, и тоже стал смеяться вместе со всеми, но не над собой, а как бы отдавая дань блестящему остроумию Женьки. Мне было больно и за себя, и за Вероню, и за весь милый обряд, который я так любил и вдруг представший чем-то стыдным, дурным, унижительным в глазах двора. Моя пассивность, безволие или трусость лишили сцену ожидаемого финала. Как в драматургии без катарсиса, публика осталась не удовлетворена. Ребята хмуро разбрелись, я тоже пошел домой. Я уже занес ногу на ступеньку крыльца, когда кто-то дернул меня за хлястик. Я обернулся – Женька.

– Чего тебе?

– Поговорить. – И он знакомыми движениями стал подтягивать свои белые перчатки.

– Неужели тебе не надоело? – спросил я с тоской.

– Надоело. Вот как! – Он провел ребром ладони по горлу. – Жидовня надоела.

Он играл на публику, которую по нерасторопности упустил. Ему бы сказать это при всех и взять меня голыми руками. Но мы были одни, а за спиной спасительный подъезд.

– Опять хочешь получить?

– Поговори еще, жидок!

Его круглое лицо покрылось пятнистым румянцем, он выставил вперед руки в белых перчатках, похожие на кошачьи лапы, и раздвинул пальцы, как делают кошки, выпуская когти.

Пижон, мелочь, ломака, и все же я трусил. Конечно, не Женькиных кулаков, он был частью того целого, перед которым я раз и навсегда спасовал. Я физически ощущал сковывающие меня путы, кулак не сжимался, рука не подымалась. Варфоломеевская ночь окутала меня.

Женька ударил, целя в лицо, но попал в плечо. Я схватил его руку, заломил, повернув его спиной к себе, и с силой толкнул. Он засеменил, пытаясь удержать равновесие, упал на четвереньки – белизной перчаток в желтую от лошадиной мочи снежную грязь.

Я думал, он уgomонится, поняв, что соотношение сил не изменилось, но, ругаясь на чем свет стоит и угрожая мне чудовищной расправой, он снова пошел в наступление. Правда, довольно медленно. Свою неторопливость он маскировал хищным приглядом к моей обреченной фигуре, выбирая наискорейший и наихудший способ ее уничтожения.

И тут невесть откуда возник Кукуруза. Вот этого я и боялся. Сейчас появятся Борька Соломатин, Курица, Лелик, весь двор.

– Чего тут у вас? – поинтересовался Кукуруза.

– Ничего, – отмахнулся Женька, – без тебя разберемся.

– Он хвалится, что самый сильный, – быстро сказал я. – Навтыкаю, говорит, тебе, потом Кукурузу поймаю.

Такую тухлую приманку мог взять только Кукуруза, что он и не преминул сделать.

– Дерьмо собачье! – Глаза Кукурузы сузились в щелки. – Ты меня поймаешь? Свиной потрох! Лавочник сраный!..

– Кукуруза, ты что? Белены объелся? – залепетал белоперчаточник.

Я повернулся и вошел в подъезд. Вослед донесся пороссячий визг. Я победил мозгами – чисто по-еврейски. Но это не гарантировало спокойствия...

5

Не лучше обстояли дела в школе. В начальных классах, как уже говорилось, аборигены – чистопрудные – терроризировали всех остальных ребят, но в дальнейшем объединяющее начало школьных стен погасило рознь. Я уже начал привязываться к школе, ища в ней противовес двору, когда в наш класс пришел Агафонов. Странно, он отравил мне несколько лет жизни, был кошмаром моих дней и ночей, а я не помню его имени. И даже не уверен, что знал это в школе. У нас всех звали по фамилиям. Были еще прозвища, у него – Агапеша.

Я сроду не видел среди детей такого здоровяка. У меня сохранились школьные карточки той поры, нас время от времени фотографировали всем классом. И на каждой карточке центром является громадная фигура рязанского Будды: тело – как набитый отрубями мешок, рожа блином и челочка пшеничных волос над плоскими бледными глазами. Вокруг этого изваяния располагаются хилые – по контрасту – дети и бедно одетые пожилые люди – учителя. В каждом классе есть Жиртрест – квелый, слабый толстяк, над которым все издеваются. Был он и у нас. Но Агапеша был не толстяк, а громадина – костяком, мышечной массой, проложенной слегка жирком, что не мешало его поворотливости и спорости.

Наверное, он не был злодеем, но переизбыток мощи требовал воплощения, к тому же в атмосфере всеобщего трепета и подхалимства пышно расцвели дурные свойства его характера. На мое несчастье, до прихода Агапеша я считался самым сильным в классе. Но это была легкая, гибкая, воспитанная гимнастикой сила мальчика моих лет, и что она стояла перед грубой силой молодого грузчика? Я мог повалить его, что, на беду свою, и делал, когда он только появился в классе, и мы шуточно стыкались на перемене. Агапеша недолго раздумывал и пустил в ход пудовые кулаки. Тут я ничего не мог поделать. Мне казалось, он бьет меня не по телу, а по внутренним органам: сердцу, легким, желудку, печени, почкам. Эти проникающие удары оставались во мне болью на весь день. А ведь то не было настоящей дракой – товарищеские стычки, так, во всяком случае, мне тогда казалось. Теперь я в этом не уверен. Я стыкался бескорыстно, им же владела цель, ожесточавшая его действия: надо было утвердиться в своем безоговорочном превосходстве, и лучше всего это сделать, уничтожая бывшего чемпиона. Я никогда не дрался в школе, только боролся – на переменках и после занятий в физкультурном зале. Все было по-доброму, по-спортивно, ребята приходили смотреть. Я часто боролся один против двоих и никогда не давал положить себя. Кроме того, я был первым на уроках физкультуры, лучше всех прыгал, бегал, подтягивался на канате, работал на турнике. Агапеша убедительно доказал, что истинной богатырской силушке не нужны ни бег, ни прыжки, ни спортивные снаряды, ни обитый искусственной кожей конь, ни шведская стенка, ни турник. Он не мог подтянуться более двух-трех раз; перепрыгивая через коня, садился верхом; с турника срывался. Но по окончании занятий подходил ко мне и давал под ребро или в солнечное сплетение, и сразу становилось ясно, кто чего стоит. Я все же оказывал посильное сопротивление вплоть до того рокового дня, когда, сощуриив бледно-голубые пустые глаза, Агапеша сказал:

– Ехал бы в свой Бердич.

– Куда? – не понял я.

– В Бердич, жидовскую столицу, – пояснил Агапеша.

Впервые услышал я в стенах школы слово «жид» и был потрясен, как чапековский швейцар Повондра, увидев в водах Влтавы черное склизкое тело саламандры. «Как, они и сюда пробрались? Нам всем конец!»

По-моему, это было в шестом классе, самом неудачном по составу. Нас что ни год перетасовывали во славу педагогическому эксперименту: группы (тогда классы назывались группами) то дробились, то укрупнялись. В дальнейшем то же самое стали делать с колхозами и предприятиями. Крыловские неумелые музыканты все время пересаживались в надежде таким

путем добиться гармонии, бездарный строй рассчитывал на успех посредством перестановок, укрупнений, раздроблений, но музыка оставалась все та же: какофония. В моем классе собралась на редкость недоброкачественная компания.

Она сложилась вокруг Агапеша. Мозгом ее был интеллигентный парень по кличке Рыльник, игравший – и очень убедительно – в приклатненного: всегда расстегнутый от ширинки туальденеровых штанов до ворота какой-то бабской кофты, на голове фуражка с лакированным сломанным козырьком, объяснялся он только на воровском жаргоне и невероятно хамил учителям. Почему-то ему все сходило с рук. Учился он играючи, мог бы – на одни пятерки, если б захотел. Но он не хотел, чтобы не уронить репутацию блатаря. Агапеша относился к нему любовно-покровительственно. Придет время, и нас сблизят с Рыльником шахматы и книги, но в ту пору он настраивал Агапешу против меня. Его раздражало, что я не опростился в угоду холуйскому составу нашего класса.

Другим фаворитом Агапеша был самый маленький парень в классе с красивой кличкой Сикель, ловкий, как черт, и, как черт, злой. Он нанес чувствительный удар по моей репутации спортсмена, перепрыгав меня на коне. Он превращал свой прыжок в акробатический номер. Ему помогали малый рост и низко расположенный центр тяжести. И все-таки я убежден, что не уступил бы Сикелю, если б не опасный прищур Агапеша и его присных, когда я выполнял прыжок. Человек, представляющий на состязаниях Бердич, заранее обречен. Повторялась Дворовая история.

Но хуже всех был рослый парень Бобров с огромным Дегенеративным затылком. Он громко пукал на уроках, а на большой перемене мочился в одну из задних парт. Вечно задевал слабых и пресмыкался перед Агапешей, который к нему благоволил, ибо рядом с ним чувствовал себя не только самым сильным, но и самым умным, красивым и грациозным.

И была атаманша-второгодница из другой школы Тамарка, хулиганистая, драчливая и не лишенная привлекательности девка, которую все боялись. Как-то раз я услышал хвастливое рассуждение Боброва: «С Тамаркой только я и Агапеша можем справиться, остальным она навтыкает». Агапеша ее уважал и опасался, за ней чувствовалась какая-то другая, внешкольная сила. У меня с этой амазонкой сложились хорошие отношения. Я помогал ей по арифметике, но, кажется, затронул иные струны чувствительной души, скрывавшейся под личиной бой-бабы. Мне довелось в этом убедиться.

Мы все поочередно дежурили по классу. Главная забота дежурного – выгнать всех в коридор во время большой перемены и проветрить класс. Но никому не удавалось выгнать упрямого кретина Боброва, опорожнявшего в парту мочевого пузыря. Предельная исполнительность была и осталась самым прочным из моих качеств. Я из кожи лез вон, чтобы изгнать Боброва. Однажды мне удалось выхватить его из-за парты, прервав мочеиспускание.

– Жидовская морда! – процедил сквозь зубы Бобров и ударил меня в грудь.

Тут же прозвенел звонок, и я сделал вид, что лишь это помешало мне расправиться с Бобровым. Но Тамарка не дала себя обмануть.

– Почему ты не дашь ему? – горячим шепотом сказала она во время урока – мы сидели за одной партой, чтобы она могла списывать у меня решения задач. – Чего ты его боишься?

Милая Тамарка-интернационалистка, если тебе попадутся на глаза эти строки, то знай, что я не забыл твоей доброты, пусть на малое время вернувшей мне душу. Равно на всю жизнь запомнил я бойкие струйки крови, побежавшие из глупых ноздрей Боброва. Наверное, он страдал гемофилией, как наследник престола, или нарочно расковыривал нос, чтобы оправдать свою небоеспособность.

Бобров был укрощен, но и меня ждала расплата. Тамарка служила мне надежным прикрытием, но когда она заболела крупозным воспалением легких, мой час настал. Уже прозвенел звонок, мы ждали появления учителя, дверь открылась, и вошел Агапеша, видимо, куривший в уборной. Он неторопливо приблизился к моей парте и врезал мне сперва в одно ухо,

потом в другое. Было больно, я оглох, но самое ужасное – по ноге побежала струйка. Я обмочился. Выскочив из-за парты, я кинулся в уборную. Заметили или не заметили ребята мой позор? Приведя себя в порядок, я долго не решался вернуться в класс. Но что было делать? Там остался ранец, учебники, тетрадки, да и не мог же я сбежать с уроков. Со смертью в душе я прошмыгнул в дверь. Козлобородый Степан Степаныч, учитель черчения, долго отчитывал меня своим лающим басом за опоздание, но я не очень переживал, поняв по равнодушным лицам однокашников, что они видели только оплеухи, которыми Агапеша никого не мог удивить.

Ночью мне приснился мой славный предок генерал-лейтенант Дальберг. Сидя на коне и раздувая усы, он проводил очередную экзекуцию над усмирёнными бунтовщиками. Дюжие солдаты выхватывали из толпы то одного, то другого бунтаря и распластывали на колоде. У всех наказуемых было плоское лицо Агапеша...

Антисемитизм приносили из дома, как бутерброд с колбасой или яблоко. В школе нас до отвала пичкали дружбой народов. Однажды меня заставили участвовать в праздничном представлении, посвященном угнетённым народам. Я должен был изображать индейца. Мама покрасила в коричневый цвет свою тонкую ночную рубашку, ставшую моей смуглой кожей. Голову украсил набор из перьев, которому позавидовал бы сам Гайавата. На него ушли все перья от маминых дореволюционных шляп, хранившихся в круглых коробках на верхотуре старого платяного шкафа. Широленные брюки Верониного племянника, украшенные бахромой, споротой с вольтеровского кресла, и мокасины – восточные ночные туфли с загнутыми носами – завершали наряд.

Два других индейца, Бобров и Рыльник, были не скажешь одеты, а раздеты под детей прерий: голое тело, трусики, сандалии и воронье перо в волосах. Они дрожали от холода и зависти ко мне, когда мы вышли на сцену школьного зала. Мы принялись скандировать ужасные вирши о страданиях обитателей резерваций, и я заметил, что на реснице Боброва повисла слеза. Почему он может так искренне и глубоко; сочувствовать далекому краснокожим братьям, но не чувствует и тени сострадания к более близким территориально бледнолицым братьям, которым тоже приходится несладко?

И еще мне хотелось понять, почему другие еврейские мальчики, а наш класс уступал разве что синагоге по чистоте неарийской крови, живут припеваючи, их никто не преследует, не шпынует, и если Агапеша порой напоминает о Бердиче или Жмеринке, то как рачительный городской для порядка, а на меня все шишки валятся? Наверное, все дело в том, что они смирились со своим положением, надели желтую повязку на рукав и обрели в этом известную свободу. А я не надел повязки, мешает другая моя половинка, пусть я никогда не вспоминаю о ней, она не забывает меня. Самому мне кажется, что я тих и незаметен, но это самообман. Я слишком заметен и на Агапешу с присными действую, как тряпка на быка. Повторялась дворовая история, и не было выхода...

Но облегчение пришло. На следующий год нас снова перетасовали, и в новом классе кончилось царство Агапеша. Бобров, Сикель и еще несколько хулиганствующих из свиты Агапеша отсеялись, пошли в какие-то рабочие школы, а Рыльник уже открыл для себя очарование ферзевого гамбита, застегнул штаны, а кофту сменил на рубашку. Против Агапеша составил заговор, меня туда не вовлекли, а я не стал напрашиваться, поскольку хотел получить с него мой личный должок. Я очень окреп на пороге отрочества. «Одесский грузчик!» – сказал однажды Агапеша, измерив вершками ширину моих плеч. «Не одесский, а московский», – ответил я и дал ему в морду. «Я этот удар тебе сроду не прощу», – сказал Агапеша и тут же опрометью кинулся вон из класса. Он заметил своих преследователей, двинувшихся в нашу сторону.

Месть не доставила радости. Агапеша был обложен со всех сторон, как волк в загоне. Он не решился ответить мне, и в тайнике души я рассчитывал на это. Агапеша по-прежнему мог

справиться со мной, но был бессилен против восставшего класса, поддержанного, как потом выяснилось, чистопрудными наемниками. А эти ребята могли пустить в ход и кастет, и нож. Я поступил низко и, как ни искал для себя оправданий, не находил их. Человек всегда устраивается с собой, но я не устроился, и сейчас, по прошествии жизни, мне так же стыдно, как в те неправдоподобно далекие времена. Неужели во мне действительно продолжается тот мальчик?..

Агапеша в класс не вернулся, он бежал из школы, и дальнейшая его судьба мне неизвестна. С уходом Агапеша изменился самый школьный воздух. Исчез запах серы – запах Сатаны и кошек, живущих в подъезде. Агапеша несомненно был сделан из того же материала, что и «величайшие гении человечества», поэтому так благостен и освежающ был его уход...

6

И все-таки страх, подлый рабский страх глубоко угнездился в душе. Один унижительный случай особенно цепко вклешился в память. Он связан с катком «Динамо», уже упоминавшимся выше. Каким-то чудом его серебряное блюдо уместилось в густотище застроенного-перезастроенного центра Москвы. Здесь дом лезет на дом, не найдешь свободного пятка: между помойкой и гаражом встроены крольчатник, рядом чистильщик сапог развесил макароны шнурков и насмердил сладкой гуталиновой вонью, вгнездился в какую-то нишу кепочник, а на него напирает электросварщик, обладатель слепящей искры, сарай, подстанции, всевозможные мастерские теснят друг дружку, толкаясь локтями, и вдруг город расступается и с голландской щедростью дарит своим гражданам чистое пространство льда.

Здесь были запрещены беговые норвежские коньки, что определило лицо катка – не грубо спортивное, а романтическое, галантное. Катались чаще всего парами: рядом, взявшись наперекрест за руки. Центр катка был выделен для фигуристов и танцоров. Ледовый флирт творился под льющуюся из черных рупоров музыку. Лещенко тосковал о Татьяне, ликовал за самоваром с Машей и признавался в скуке, мешающей забытию; Утесов, рыдая, прощался с любимой; Козин воспевал дружбу, а резкий, с грузинским акцентом тенор Бадридзе жаловался на «образ один», что не дает ему ни сна, ни покоя.

Самые счастливые часы зимней жизни отроческих лет я провел на этом катке. Не помню уже, кто открыл мне его, но затем я перетащил сюда всех моих школьных друзей, ломавших ноги на бугристом, в трещинах, полыньях и снежных наметах естественном льду Чистопрудного катка.

Но мы забыли, что есть люди, считающие себя законными хозяевами «Динамо», им наше свободное поведение, веселье и беззаботность, наши летучие ледовые романы – что острый нож живому сердцу. Нами попрано святое право места. И они устроили нам баню в длинном переходе, соединяющем Петровку с Неглинной, когда мы, перебесившись, перенаслаждавшись, усталые до изнеможения, возвращались домой. И предвестием грядущих апокалипсических забав человечества в талом воздухе прозвучал древний русский клич: «Бей жидов!» О второй части призыва к этому времени еще не вспомнили. Тогда я впервые обнаружил, что «жид» – понятие очень растяжимое, условное и крайне удобное для тех, кто решил разделаться с неугодными людьми. В жида попал Юрка, Павлов, наш лучший школьный конькобежец, признававший лишь скоростные трассы Парка культуры и отдыха. Мы затащили его в наш ледовый Версаль соблазнами не спортивного, а галантного рода. Ему очень хотелось промчаться по льду, скрестив руки с Ниной Варакиной – будущей своей женой. Он оплатил зубом короткие минуты блаженства. Воистину, в чужом пиру похмелье. Я убежден, что группа решительных евреев с криком «Бей жидов!» могла бы устроить русский погром посреди Москвы. Это не менее реально, чем прямо противоположное: наладившийся в последнее время отъезд русских в Израиль и другие благосклонные к еврейской эмиграции места. Признание: «Я жид» – распаивает заветные двери с непреложностью пресловутого: «Сезам, откройся».

Но в тот роковой день мне было не до пустопорожних рассуждений. После зычного и все расставившего по своим местам клича я был как под наркозом и даже не почувствовал боли, когда рослый парень лет семнадцати, с румяным лицом былинного доброго молодца, разбил мне нос и губу. Избиение произошло на глазах наших подруг – позор, стыд, но никому не вспало в голову сопротивляться, даже Юрке Павлову, получившему со словом «жид» местечковый трепет.

Отсмаркивая кровавые сопли, я думал вовсе не о мести, а о том, что вечером мне идти на «Испанского священника» в МХАТ-2. Мила Федотова сказала, что тоже придет. Я боялся, что распухший нос лишит меня двойного удовольствия. Я хватал горстями снег и прикладывал к

лицу. Очевидно, Милу тоже озаботило состояние моего носа, она подошла и стала помогать мне унять кровь. Славные девочки! Они видели нашу слабость и несостоятельность в беспощадно враждебном мире и все нам прощали. Они даже влюблялись в нас.

В театре я видел сцену сквозь багровый отсвет, исходивший от моего распухшего носа – примочки снегом несколько | уменьшили его размеры, но снять багрец не могли. В том же в красноватом мареве я видел со своего яруса сидящую в партере Милу. Наши глаза встретились, и вспышка Милиного румянца была ярче пожарных тонов моего тогдашнего мира.

Мы вместе возвращались домой через Театральную площадь, намело свежего снега, и все искрилось под фонарями; вверх по Театральному проезду, по Мясницкой, Кривоколенному переулку, обогнули мой дом и вошли в тишайший в этой тихой ночи Сверчков переулок. Мы миновали, не задержав взгляда, дом номер десять, где жил стройный армянский мальчик, счастливый обладатель мотоцикла, кожаных краг и перчаток с раструбами; этот мальчик вырастет, станет Милиным мужем, уйдет на фронт и погибнет в первом же бою. А вот и новостроечный массив в Потаповском, заселенный крупными военными. Один из самых, крупных – Милин отец, молодой красавец и весельчак. Жизни ему оставалось менее трех лет, он пойдет по делу Тухачевского, а золотоволосая Милина мать отправится в лагерь и ссылку на; восемнадцать лет.

У ворот Милиного дома ей поклонился высокий человек с седыми висками, прогуливавший большешапого щенка-дога. Он старомодным жестом приподнял меховой пирожок, как будто Мила была взрослая дама.

– Добрый вечер! – сказала Мила, покраснев от гордости.

– Кто это? – спросил я.

Она назвала одну из самых распространенных фамилий, упомянула почему-то о балетной школе. Я уже не слушал, какое мне дело до случайного прохожего.

Стоп! Наверное, это просто совпадение, но ведь жизнь очень грубый и решительный драматург, не боящийся никаких совпадений. Я никогда не задумывался над тем, что у тяжелораненого лейтенанта, однофамильца этого человека, были сестры-балерины.

В дни войны выпускницу стоматологического института в связи с нехваткой хирургических кадров послали в госпиталь оперировать. Ей доверяли... нет, скидывали случаи теоретически безнадежные. Но безнадежнее безнадежного казался молодой офицер с развороченным животом. Шесть часов длилась операция. Лейтенант несколько раз умирал, а хирург терял сознание. Миле казалось, что она спасает – жизнь раненому, – она спасала свою собственную судьбу и судьбу своих детей и судьбу матери, чтобы лагерница и ссыльнопоселенка стала прапрабабушкой. Всего лишь месяц не дожила она до золотой свадьбы своей дочери и лейтенанта с того света.

Так совершили мы путешествие по Милиной судьбе, конечно, ничуть о том не подозревая, занятые друг другом и снегом и ночью. Мила, застенчивая, легко краснеющая, робко и нежно заглядывала в мое разбитое рыло...

Я ушел далеко в сторону от своей темы. Мне не хочется, чтобы у читателя сложилось впечатление, будто я ухлопал всю жизнь на возню с национальным вопросом. Конечно, это не так. Были, не раз были – чистый снег, ясные ночи, теплый, доверчивый локоть...

7

Осенью тридцать седьмого года, по выходе отчима из тюрьмы, мы переехали в Приарбатъе. Отчима посадили за год до так называемой «ежовщины» по чистому недоразумению, случается и такое в большом хозяйстве, Писателя пустили по делу экономической контрреволюции. Поскольку он лишь путался под ногами, через год его выпустили, зачтя ему этот год как наказание за невмененную вину. Вообще же никакой «ежовщины» не было, это легенда. Былая сталинщина, независимо от того, чьи руки держали щит и меч: Ягоды, Ежова, Берии, Абакумова, Меркулова или кого другого.

Отъезд из дома, где я родился и провел семнадцать лет: своей единственной и неповторимой жизни – от первого крика до первой любви, где было пережито столько милого, трогательного, больного и страшного: ночной солдат, ворвавшийся в сон, голос Верони: «Спи, маленький!» – попытки дружб и прикипевшие к груди плевки, сумасшедшие паровозные гудки в мартовской черноте; где я начал писать, бросил и снова начал, уже навсегда, – оказался сух и холоден, без прощальных слов, без раскаяния и сожалений, неотделимых от всякого расставания. Мы уезжали днем, когда взрослые жильцы были на работе, а дети в школе. С Толькой Соленковым мы давно порвали. Без ссоры и объяснений, просто нам нечего стало делать друг с другом. Во дворе мои несостоявшиеся дружбы и забытые вражды тоже давно кончились, я ходил через парадный ход, а черный ход, дворы и Армянский переулок стали не нужны. Покидая свою комнату, я посмотрел в окно на помойку, голубятню, общую плоскую крышу деревянных сараев – ничто не шелохнулось в душе. Церковь Николы в Столпах, где было столько намолено, давно уже закрыли два надстроечных этажа нашего дома, какое-то время торчала верхушка креста центрального купола, затем и она исчезла – церковь снесли. Никакой печали, ни тени лирического чувства я не испытал – этот мир давно изжил себя; те же, кого я любил, уезжали вместе со мной, а Катя останется в нашей жизни.

Через год после окончания школы я побывал в своей старой квартире и удивился, как она мала, темна, тесна и убога. Но так и обычно бывает при свидании с родным пепелищем. Меня послала мама с каким-то поручением к Кате. Поскольку я хотел заглянуть на книжный развал у Китайской стены, мне удобней было пройти черным ходом. Без всякого волнения спустился я по знакомой каждой щербатой ступенькой грязной лестнице.

На коротком пути к подворотне дорожку мне заступил невысокий франтоватый молодой человек в белых перчатках. Я не узнал его, а догадался, что это Женька Мельников, лишь когда он схватил меня за лацкан пальто и с каким-то присвистом высказался по национальному вопросу.

Боже мой, какая духота! За прошедшие годы столько было страшного, столько людей ушло в смерть, в никуда, столько пролито слез, и другое было: минули детство и школа, пришла пора пусть не мятежной, пусть взявшей «на прикус серебристую мышь» юности, да ведь юности, черт побери! А здесь ничего не изменилось, не сдвинулось, те же тухлые стоячие воды. Часто удивляются: откуда берется фашизм? Да ниоткуда он не берется, он всегда есть, как есть холера и чума, только до поры не видны, он всегда есть, ибо есть охлос, люмпены, городская протерть и саблезубое мещанство, терпеливо выжидающее своего часа. Настал час – и закрутилась чумная крыса, настал час – и вырвался из подполья фашизм, уже готовый к действию.

За эти годы я стал другим. Прежде всего, я уже не принадлежал этому двору, не зависел от него и не считался с ним. В кармане пиджака лежала тугая розоватая бумажка – паспорт допризывника, где в графе «национальность» значилось: русский. А мою взрослость удостоверял студенческий билет. Возможно, подсознание произвело мгновенный расчет на основе названных данных и вынесло решение, но мне казалось, что я чисто рефлекторно отбросил

Женькину руку и столь же рефлекторно дал ему в глаз. Он упал, тут же вскочил, сжимая в руке булыжник.

– Брось камень, говно, – послышался ленивый голос.

Из подворотни выдвинулся огромный, как конная статуя, Витька Архаров с прилипшей к губе папироской. Он глядел поверх наших голов в какую-то свою даль.

– А чего он лезет? – плаксиво сказал Женька Мельников.

– Я видел, кто полез, говно, – изнемогая от взрослой тоски, уронил Витька.

Женька не мог послушаться и выпустил булыжник. Не хотелось бить этого фанфаронишку, но тут я понял, что Витька Архаров дарит его мне, возможно, в компенсацию за нанесенный прежде урон: краски, цветные карандаши, мекано и настоящий «монте-кристо», что в десяти шагах убивает человека. Ему нужна была искупительная жертва, чтобы рассчитаться с темным прошлым и чистым как стеклышко ступить на стезю борьбы с преступностью. Он был мне всегда симпатичен, и не хотелось обижать его отказом. Я сделал, что мог.

Витька даже не оглянулся, ему довольно было музыкального сопровождения экзекуции, такого пороссячьего визга, такого ослиного рева не слышал наш двор.

Я кивнул широкой Витькиной спине и пошел в свою новую жизнь, чтобы уж никогда сюда не возвращаться...

8

Мы жили в первом писательском доме на улице Фурманова, бывшем Нащокинском переулке. Квартирен-ку дали отчиму взамен кооперативной в Лаврушинском, которой его лишили в связи с арестом. Братья-писатели вынесли свой вердикт, опередив правосудие. Отчим, как и прежде, поселился отдельно, обменяв наши полторы комнаты в Армянском на однокомнатную квартиру. С переездом в Нащокинский сменилось все наше окружение. В новой среде обитания, литературно-киношной, национальная тема потеряла свою жгучесть в силу решительного преобладания евреев. Любой выпад не сдержавшего сердце русачка вызывал такой мощный отпор, что несчастный готов был сделать себе обрезание, как японский, самурай харакири, во искупление вины. Для национальной розни не было пищи еще и потому, что тут всех, кого можно и нельзя, спешили зачислить в евреи. Певец советской деревни, поэт гармонии Александр Жаров, горбоносый брюнет из смоленской глубинки, был объявлен тайным жидом; вполне возможно, что среди его предков был наполеоновский солдат, через его деревню шли французские войска на Москву, но дружба с Уткиным, Безыменским и Джеком Алтаузенем отмела все варианты происхождения, кроме наипозорнейшего.

Я мог бы безмятежно вариться в еврейском супе, если б не одно весьма существенное обстоятельство. Дома, в нашей новой крошечной квартирке, я все время терся среди русских, терся буквально, сталкиваясь боками и с трудом разминуюсь в узеньком коридорчике. Моими соседями были: мама, Вероня и Джек – тоже русский, ибо дворняга. В родной мне русской атмосфере я никак не мог быть плохо замаскированным евреем, каким числился в киношных и литературных кругах. Есть замечательное высказывание: еврей – тот, кто на это согласен. А я не был согласен, несмотря на всю натужную готовность. Иногда я вел про себя такие разговоры с неким собирательным евреем: дайте мне ваш нос, ваши темные глаза, вечный двигатель вашего юмора, ваш дивный музыкальный слух – за одно это готов повесить свитки торы в своей комнате, вашу безунывность, наглость и смирение. Но дать мало, надо кое-что отобрать. Так отберите у меня жест молитвы, большую любовь к природе – она ведь не нужна? – и слезу о Христе. И я навеки ваш.

Словом, ничего не кончилось. И тут произошел домашний разговор, странность которого я поначалу не понял. Отчим сказал, что мне надо выбрать литературную фамилию и носить ее как свою.

- Красовский, – сказала мама.
- Не пойдет, был цензор, душитель Пушкина.
- Мясоедов.
- Был лицеист Мясоедов – дурак из дураков. Дельвиг предлагал ему праздновать именины в день усекновения главы.
- Тогда – Калитин, – сказала мать, будто на что-то решившись.
- А тебя не?.. – отчим не договорил.
- Да ну их к черту! – сказала мать, кусая губы. – Кого это теперь интересует?
- О чем вы? – спросил я, ничуть не настороженный, фамилия мне понравилась, и я не понимал, чего они мнутя.
- Петр Калитин – хорошо, – одобрил отчим.
- Откуда эта фамилия? – спросил я.
- Старая русская фамилия. У меня были дальние родственники Калитины, – ответила мать. Я сказал, что поменяю фамилию на Калитин.
- Отчество ты, надеюсь, оставишь? – спросила мать, и опять что-то странное было в ее тоне.

Так появился на свет Калитин Петр Маркович, русский, крещеный, еврей для всех, кто его знал, и уже подавно для тех, кто его не знал, ибо всем хватало отчества. Бедная, бедная Марковна, жена неистового протопопа Аввакума!.. Русские плотнее сомкнули ряды, евреи еще шире распахнули объятия...

С чем можно сравнить страдания, которые причиняла мне моя «недорусскость»? Разве что с тоской и муками бедного Петера Шлемиля, человека, потерявшего свою тень, о чем поведал Шамиссо. Неужели это правда так стыдно, так мучительно стыдно не иметь тени? Да на кой черт она сдалась? Но, видимо, надо лишиться тени, чтоб понять ее важность, и как обесценивается человек, если хотя бы крошечная, прозрачная тень не сворачивается у его ног в солнечный день. А вот трагедия страшнее Шлемилевой: быть русским и отбрасывать еврейскую тень. Я не видел евреев, несчастливых своим еврейством. И очень мало видел таких, которые от своего еврейства отказывались. Очевидно, последние были не согласны – по той или иной причине – быть евреями. Но со страниц одной книги прозвучал крик возмущения нелепицей быть евреем в России – один из персонажей «Доктора Живаго» с ужасом и отвращением осознает, что неизвестно за какие грехи вынужден нести на себе печать еврейства. Тот, кто это почувствовал, несчастный человек. Хлеб жизни навсегда отравлен для него. Он никогда не поверит в хорошее отношение людей, не отмеченных роковым знаком, и будет относить каждый их жест добра за счет брезгливой снисходительности, вышколенной терпимости к низшим – из религиозных, нравственных или иных искусственных соображений.

Лично я никогда, даже в упоении любви, дружб, спортивных баталий, гульбищ, захватывающих развлечений, не забывал, что у меня нет тени. Неточный образ. Я чувствовал себя человеком, отбрасывающим чужую тень.

А потом пришла война и поставила меня перед грозным выбором. В армию меня не брали. Я сунулся в школу лейтенантов, потом пошел в обычный райвоенкомат – мне предложили спокойно кончать институт. Мол, государство затратило на меня столько средств, мой долг получить диплом. Это было вранье. Меня не брали по анкете – сын репрессированного не годился даже на пушечное мясо. В школе лейтенантов я не стал спорить, общее безумие заразительно, мне и самому показалось абсурдным, что можно доверять взвод человеку, у которого сидит отец. Но в военкомате я заупрямился. Тогда меня послали на медицинскую комиссию, которую я покинул с белым билетом в кармане. Я был здоров как бык, мне Дали психушечную статью, пойдی докажи, что ты не сумасшедший. Вот когда был найден изящный способ избавляться от неудобных людей. Здесь ставили заслон человеку, пытавшемуся проникнуть в армию и развалить ее изнутри. Впоследствии тот же метод применяли к диссидентам, инакомыслящим, но с ними поступали круче – их совали в больницы с тюремным режимом, мне же просто дали под зад коленом. Никогда еще я не чувствовал так обреченно свою низкопробность в стране, которую считал родиной.

Неожиданный вывод из всего случившегося сделала мать. Радиокomiteт, где работал тогда отчим, эвакуировался в Куйбышев, мой институт уезжал в Алма-Ату. Мать сказала: «Катитесь колбасой, я никуда не поеду». «Но ведь Москву возьмут», – сказал отчим. Вскоре эта мысль станет общим достоянием и приведет к московской панике 16 октября. «Пусть берут, – сказала мать. – Я переелась сталинским социализмом, меня от него тошнит. Посмотрим, что такое гитлеровский социализм, наверное, такая же помойка, но хотя бы с другой вонью. А главное, я останусь дома».

Я был уже женат. Мы расписались с Дашей, когда я решил уйти на фронт, чтобы не потеться в сутолоке войны. Ее семья оставалась в Москве. Их патриотизм не допускал и мысли, что Москва может быть сдана. На самом деле они не сомневались, что Москву возьмут. Мать и приемный отец жены были чистокровными немцами с русскими паспортами, а Даша наполовину полька. Ее отца, известного художника, расстреляли в восемнадцатом, это было настолько обычно, что я даже не поинтересовался, за что. Мне мучительно не хотелось расставаться с

Дашей, но что было делать, гитлеровскому социализму русский по матери и паспорту годился лишь в виде трупа. И вдруг мать сказала: «Оставайся, сынок, куда ты поедешь? Они тебя даже на бойню не берут. Ну их к лешему!»

Мое доверие к матери было безгранично, я не задал ей ни одного вопроса. И остался.

Мы с Дашей проводили отчима на Казанский вокзал и видели то, что потом выдавалось за невероятную панику, но, по-моему, мало чем отличалось от обычного московского вокзального бардака поры летних отпусков. Мелькала высокая, стройная фигура Козловского в сером габардиновом плаще, он был в меру озабочен, не теряя достоинства. Его вечный соперник Лемешев прогуливался в это время по Тверскому бульвару, покашливая и кутая горло, – открылся процесс в легких, что помешало эвакуации. Как недавно выяснилось, власти сочли его немецким шпионом и взяли под неусыпный надзор. Видел я седую голову Фадеева – он потом возглавлял список писателей, награжденных медалью «За оборону Москвы», награждали только удравших, все остальные были под подозрением. Там же на перроне мы услышали, что Лебедев-Кумач сошел с ума, срывал с груди ордена и клеймил вождей как предателей. Больше ничего панического не было. Возможно, это произошло позже, если произошло.

Через несколько дней после отъезда отчима мы отправились грабить его квартиру. Мы – это мама, моя бывшая нянька Катя, ее муж Петя Богачев и я.

Катя и Петя пили, как сельский поп из знаменитого анекдота: если без закуски, то безгранично, а если с закуской, то безгранично и еще сто граммов. Когда по утрам нечем было опохмелиться, они пили собственную проспиртованную мочу из ночного горшка. Во время частых гулянок – они любили кутить, а не осаживаться сивухой на пару, Петя должен был исполнить «украинский» романс: «Бедное сэрце навеки разбито». Он пел дребезжащим тенором, ударяя себя кулаком в грудь, и плакал. Все были в восторге и требовали повторения. Удивляться тут нечему: знаменитый Тартарен одерживал вокальные триумфы, обходясь еще более скромными средствами – троекратным повторением: «Нэт! Нэт! Нэт!»

Во время революции Петя Богачев, носивший кличку Петя Маленький, был связным между передовым отрядом революционных печатников и штабом, находившимся в нашем доме. Потом его скромная роль в революции выросла в помраченном рассудке до исполинских размеров. Напившись, он шел к висящему в коридоре телефону и властно требовал у телефонистки:

– Кремль!.. Богачев!

Это пугало другого квартирного революционера – Данилыча. Он выскакивал в коридор и отнимал у Богачева трубку.

– Я их всех в люди вывел! – сопротивлялся Петя. – И Молотова, и Кагановича, и Троцкого!

– Молотова и Кагановича ты вывел, – сердито бухал Данилыч. – А Троцкого нет!

Они начинали спорить – дядя Петя в своем беспробудном пьянстве не уследил за падением Троцкого, – и Данилычу удавалось отвлечь его от телефона.

Незабываема осень середины октября сорок первого года, когда Москва потряхнула с себя – увы, ненадолго – советскую скверну. Конечно, в городе оставалось еще достаточно мерзости: и в опустевших зданиях ЦК партии и комсомола, и в доме на площади Дзержинского, и в райкомах, и под землей, куда укрылся по-кротиному Сталин (был слух, что поначалу он драпанул, но потом взял себя в руки и вернулся). На шоссе Энтузиастов (название – к месту) рабочие заслоны возвращали назад машины привилегированных беглецов, но они все равно удирали, цепляясь за вагонные поручни. Ненаселенные улицы были широки, чисты, будто разметены гигантскими метлами, горьковато пахли сухим кленовым и вязовым листом, просматривались из конца в конец. И как-то много было эмалево-голубого, прозрачного, дореволюционного неба – заводы, что ли, перестали дымить?

Мы с мамой приехали к Кате на метро, а от нее пошли пешком к Подколокольному переулку, избрав кружной путь по Чистопрудному и Яузскому бульварам. Нам некуда было спешить. Одна громадная ложь рухнула, другая еще не пришла, мы чувствовали себя в щемящей пустоте безвременья. Нам не о чем было говорить, мы выпали из мира привычных ценностей и забот, выпали из истории, растеряв все координаты и указатели. Как много значила прежняя всеохватная ложь! Она подсказывала слова и жесты, мысли и поступки, манеру поведения и выражение лица. Сейчас все предписанное было отнято, мы потеряли точку опоры, повисли в воздухе. Мы не умели черпать жизнь из реалий окружающего: домов, деревьев, тротуаров, проводов, палых листьев, неба, самих себя. Нам нужны были указатели, а их не стало. С четырьмя людьми, бредущими опустелым городом, оставалась лишь, давая силы, их высокая цель: пожить чем-нибудь в брошенном спартанском жилье, а награбленное превратить в водку.

Я был не столь деморализован, как мои спутники, меня укрепляла гордость: впервые я на равных участвовал в настоящем русском деле.

Подколокольный переулок, спускающийся от Яузского бульвара к Хитрову рынку, был похож на театральную декорацию, ждущую выхода актеров, – ни души. Дома казались необитаемыми, а высоченный вяз возле дома отчима с нарочито золотой листвой – искусственным; низенькие здания бывших ночлежных домов в глубине – нарисованными на заднике. Быть может, из-за неестественности, сделанности, нарочитости этого городского пейзажа мне вдруг легко стало представить, как сюда входят вражеские солдаты. Не гитлеровские – в зеленом сукне и рогатых касках, потные, грязные, небритые, в скрежете движущегося металла, а нарядное, стройными рядами, с развевающимися знаменами, под музыку Штрауса, опереточное воинство.

Отчим всегда жил один. Считалось, что одиночество необходимо ему для размышлений, а был он глубоко и сильно думающим человеком. Вскоре после войны он создал концепцию гибели мира. Он считал: придет время, когда сделать атомную бомбу станет по силам одному человеку. С этого момента мир обречен. Как известно, американский студент смастерил атомную бомбу в лабораторных условиях. И то, что мы обречены, ни у кого не вызывает сомнений. Грустное это открытие принадлежит моему отчиму. Концепция – тоненькая тетрадка, вроде знаменитого «мемуара» Эйнштейна, не была опубликована, хотя отчим переслал рукопись своим родственникам в Финляндию. После его смерти я не нашел в немногочисленных бумагах копии этого труда.

Если верить газетам, немецкие ефрейторы (почему-то именно ефрейторы, а не рядовые, не унтер-офицеры, не фельдфебели) при поспешном отступлении забывают в окопах интимные дневники, позволяющие нашим остроумцам, вроде Эренбурга, предавать на всеобщее осмеяние духовное убожество гитлеровских вояк, а стало быть, и всего народа, живущего под знаком свастики. Отступление отчима на заранее подготовленные волжские рубежи не было столь поспешным, он имел время почистить за собой, но первое, что мы обнаружили, проникнув в квартиру, был лежащий на столе дневник.

Мама взяла его, полистала и с брезгливой гримасой передала мне.

– Дневник немецкого ефрейтора, – сказала она. – Теперь ясно, каким высоким раздумьям предавался наш схимник в своей келье.

В голосе ее не звучало ни горечи, ни возмущения, ни разочарования, презрительно-насмешливая интонация была не лишена добродушия. Говорят, что ревность – это недостаток любви. Но и полное отсутствие ревности – тоже недостаток любви. Я подозревал, что мать не любила по-женски отчима. Ей надо было прикрыть меня, защитить после несчастья, случившегося с отцом, для этой цели отчим вполне годился. Он годился и на большее: руководил моим чтением, моим развитием, толкнул меня на писательский путь, навсегда став непререкаемым авторитетом во всем, что касалось литературы, да и культуры в целом. У него был – при полном отсутствии музыкального слуха – абсолютный слух на поэзию, прозу, изоб-

разительные искусства, он был открыт и любому мышлению. Тут не было порабощения, я совпадал с ним во многом, но пришло время, когда я обрел необходимое пространство свободы. В преклонные годы мать и отчим наконец-то станут жить вместе в загородном доме, который я построил в середине пятидесятих годов. К тому времени накопленная матерью привязанность к нему стала почти любовью. Чувство отчима к матери было всегда гораздо живее, но и свободнее, в чем мы не преминули убедиться.

Дневничок был и впрямь хоть куда. Он содержал подробную историю увлечения отчима какой-то Иришкой Дерен. Поначалу меня больше всего поразило, что возлюбленная отчима носит фамилию знаменитого французского фовиста, затем покорила стилистическая безвкусица и бытовая неценность записей. Отчим написал несколько неплохих исторических повестей, но он не был художником, его сила – в интеллектуальной прозе, поразившей некогда Горького и, как я совсем недавно узнал, Шаламова. А здесь отчим писал как бы не от себя, а стилизуясь под дневник житейского человека. Конечно, ефрейтору Задрипке так было не написать, но интеллигентный обер-лейтенант, знакомый с творчеством немецких романистов двадцатых годов, мог бы сходным образом воспевать далекую возлюбленную. Томные вздохи: «Ах, Иришка!.. Иришка!» – чередовались с восторгами перед ее красотой, где главенствовало золото: золото волос, золотой загар, золотые искорки в глазах, вся золотая. Я подумал было, что отчим не так уж любит свою Иришку-фовистку, но затем вспомнил о другом. Хемингуэй говорил: беда Фолкнера в том, что он часто пишет, когда писать ему вовсе не хочется. Отчиму не хотелось писать этот дневник. Но в ту пору он был помешан на Толстом и считал себя обязанным наряду с «умственными» записями, подобно своему кумиру, поверять бумаге личное, интимное, бытовое. И тут мама подтвердила мою догадку. Среди прочих записей я наткнулся на такую: «Петя получил деньги и сразу охамел». Я спросил маму: неужели это было? «Грязный бред, – ответила она. – Придуманный дневник придуманного человека. Фальшивка». Разумеется, дневник не был весь высосан из пальца. Имелся в наличии я, имелась Иришка. Но я никогда не хамел от тех небольших денег, которые с некоторых пор стал регулярно зарабатывать и все отдавать маме. Иришка же состояла не только из золота, в ее состав входила и грубая порода, что получило неожиданное подтверждение.

В дневник было вложено письмо без конверта. Освобожденные предательством хозяина квартиры от излишней деликатности, мы с мамой вместе прочли эпистолу, подписанную уже близким нам именем Иришки Дерен. Хорошо монтировалось письмо с золотыми грезами сентиментального обер-лейтенанта. Оно представляло из себя яростную брань по поводу каких-то наручных часов, которые Иришка дала отчиму заложить в ломбарде – в трудную для него или для них обоих минуту – и которые он забыл выкупить, а может, перезаложил в другую трудную минуту, короче говоря, не вернул ни в должный, ни в пролонгированный срок. Разгневанная дама грозила покарать отчима собственной дланью, десницей брата, после чего востребовать «украденную вещь» – именно так характеризовала она действия возлюбленного – через советский суд. Ненужное слово «советский» было привлечено для пущего запугивания человека, уже дважды пострадавшего от советского правосудия. Об аресте его в тридцать шестом году я говорил, а до этого он отсидел три года за своего брата, обвиненного в халатном отношении к государственному имуществу. Тот заведовал книжной лавкой, которую под его рассеянным присмотром действительно разворовали. Брат только что женился, у него болела нога – позже это приведет к ампутации, – и отчим принял его вину на себя. Сидел он легко, написал в тюрьме свою первую серьезную повесть, пользовался отпускными днями, но все же сидел. Не знаю, многие ли способны на такую жертву. – Этим и должно было кончиться, – сказала мать без тени торжества. – Он помешан на ломбарде. С тех пор как он появился в нашем доме, у нас заложено все, что принимают в заклад. Он заложил бы и нас с тобой, и самого себя, будь это возможно. Красивый финал романа. Интересно, успел ли он перед отъездом выкупить эти часы? А то они пропадут. Этот вопрос мне ужасно хотелось задать седой сгорбленной старухе,

навесившей нас на даче лет через тридцать после набега домушников на квартиру отчима. Я тщетно пытался найти в ней отсвет той светозарности, солнечности, которыми наделял ее отчим в злополучном дневнике. Она отдыхала в соседнем санатории и услышала, что мы живем поблизости. Старенькая Иришка обедала у нас, пила чай, добродушно болтая с мамой о всякой житейской чепухе. Отчим был не сказать смущен, но как-то не нашел тона. Может, часы все-таки пропали, но при его беспечности в отношении к чужой собственности это не могло его особенно волновать. Я не хочу сказать, что он был нечист на руку, боже упаси, но не отдать вовремя или вовсе замотать долг, не вернуть книгу, аванс, какую-нибудь хозяйственную вещь было вполне в его духе. Он без спроса брал мои вещи, использовал их, иногда терял или портил, но не испытывал от этого ни малейшего дискомфорта. Он успел до своего побега загнать мою библиотеку, мол, книги – это первое, что пропадает во время войны. Я собрал – не без его активного участия – почти все изданное «Академией», включая, разумеется, моих любимых «Мушкетеров», и много других хороших книг. Как ни странно, мать, сочетавшая своеволие с щепетильностью, в таких делах шла на поводу у отчима. Быть может, присущий ей широко-масштабный эпатаж, не находя применения в суровой советской действительности, обернулся небрежением чужими вещами. Материальная бесцеремонность в сочетании с душевным изяществом и деликатностью делали для меня отчима – при всей нашей близости – фигурой загадочной. Я так и не разобрался в человеке, сквозь утонченную интеллигентность которого нет-нет да и прорывался босяк.

– Ох, дорогой ты наш человек! Святая душа! – послышался умиленный, плачущий голос Пети Богачева из прихожей.

Мы ринулись туда. Связной революции, подхлебывая носом, обнимал трясущимися руками бутылку «столичной» водки.

– Он еще и алкоголик? – сказала мать.

– А ты этого раньше не знала? – удивился я.

– Я не о Пете, – раздраженно сказала мать. – О нашем отшельнике.

– Бутылка непочатая.

– Отдай! Разобьешь! – Катя попыталась завладеть бутылкой.

– Цыть! – гаркнул Петя, и мы поняли, каким он был в дни революции: глаза сверкали из-под насупленных бровей, желваки играли на резко обозначившихся скулах, цыплячья грудь по-соколиному взбугрилась – сейчас Петя Маленький ринется в свой последний решительный бой.

И Катя оробела.

– Ты чего взъерепенился? Просто помочь хотела.

– Нечего мне помогать. Я тяжелее носил, не ронял. Неужто бутылку не удержу?

– У него, когда волнуется, руки дрожат, – пояснила нам Катя.

– Болтай, да знай меру! Когда это у Пети Маленького дрогнула рука?

Катя не ответила. Ее блекло-голубые глаза напряглись, неожиданно ловким, кошачьим прыжком она скакнула в угол и вытащила из-за помойного ведра темную бутылку с этикеткой «Мадера», в которой что-то плескалось. Не раздумывая, она всосалась в горлышко.

– Осторожнее, – сказала мама, – не отравитесь.

– Ты тут не одна, – жестко напомнил связной, успевший опустить «столичную» в карман своей тужурки.

– Не поймешь, – сказала Катя, отрываясь от бутылки. – То ли вино, то ли пиво, то ли моча.

– Что ты несешь? Зачем ему в бутылку мочиться? Петя Маленький забрал у нее бутылку, обтер горлышко рукавом и сделал хороший глоток.

– Нормалек, – сказал он, но в голосе не было уверенности. Он рыгнул, пожевал губами, что-то соображая, и твердо заключил: – Градус, во всяком случае, есть.

– Дай-ка на глоточек, – попросила Катя.

Он отдал жене бутылку и с каким-то сомнамбулическим видом шагнул к стенному шкафчику над крошечной, в одну конфорку газовой плиткой, распахнул дверцы и достал липкую бутылку с остатками вкусного ликера «Какао-шуа».

– Господи! – сказала мама и прошла в комнату.

Я последовал за ней.

Мама закурила, села на тахту, но сразу пересела в кресло у письменного стола. На нем красовался «ундервуд» без футляра, от каретки тянулась веревка, спускавшаяся за край стола. Я потянул за нее и почувствовал тяжесть. Оказалось, на веревке висели подкова и половинка кирпича.

– Зачем это? – удивился я.

– Для тяги, – пояснила мама. – Я помню, он говорил в прошлом году, что лопнула пружина.

Вошли торжествующие Петя и Катя, они обнаружили в аптечке полпузырька медицинского спирта.

– Мне что-то надоело, – сказала мама. – Отбери книги, и пойдем.

Катя шутливо попросила разрешения «пошукать по сусекам», а я стал нагружать чемодан разрозненными томами брокгаузовского словаря и другими приглянувшимися книгами: помню, там было что-то Розанова, «Замогильные записки» Печерина и несколько книг о Французской революции и Наполеоне – эта эпоха особенно интересовала отчима. Он был прав – война не шадит библиотеки.

Общим советом решили забрать весьма скромную кухонную утварь, две фарфоровые чашки с блюдцами, две тарелки, вилки, ножи, штопор, банку с какао, черную настольную лампу, пишущую машинку, освободив ее от кирпича и подковы. Катя обнаружила какой-то подозрительный ситцевый халатик, который мама разрешила ей взять. Пете Маленькому достались шлепанцы, брючный ремень и пиджак с кожаными латками на локтях. Петя нашел на окне за шторой какой-то странный каменный сосуд – не то старинная бутылка, не то ваза. Он стал встряхивать его, прикладывая к уху в надежде услышать заветный бульк. Но тут мама вспомнила, что это урна с прахом мачехи отчима, умершей пятнадцать лет назад. У отчима все как-то не доходило руки, чтобы предать земле дорогой прах. Разочарование связного несколько компенсировали бычки в томате, извлеченные Катей из залавка. При такой закуске незачем было откладывать дело в долгий ящик, и мы прикончили «столичную» на месте. Затем при всеобщем согласии Петя выпил медицинский спирт, разбавив его в стаканчике для бритья, а мы разлили по чашкам «Какао-шуа».

Петя Маленький все время плакал – то были слезы благодарности судьбе, сделавшей ему такой праздник. Но радость боролась в нем с раскаянием. Он представлял себе состояние беглеца, вернувшегося на родное пепелище и не нашедшего там ни «столичной», ни остатков «Какао-шуа», ни пузырька с медицинским спиртом, ни бутылки с загадочной крепленой жидкостью. «Война все спишет», – приговаривал он, самоутешаясь сквозь слезы.

Маме все это надоело. Мы быстро покончили со сборами и покинули гостеприимный кров. Я тащил чемодан с книгами, Катя – сумку с хозяйственными мелочами, Петя Маленький нес в одной руке пишущую машинку, футляр от которой мы обнаружили под кроватью, в другой – авоську с пустыми бутылками. Мама шла налегке.

На улице, еще дневной, хотя голубизна неба казалась усталой, я словно с высоты увидел наше шествие: хорошие, правильные, малость подвыпившие русские люди идут по осажденному городу, ничуть не озабоченные ни его, ни собственной судьбой. Никакой суеты, никакой тревоги, ибо во всеобщем подсознании нашего народа таится глубокая уверенность, что Россия все перемелет, все переварит и в конечном счете обернет на свой лад. Ей безразлично, кто над ней мудрует, напасти не страшны, в русском брюхе и долото сгниет. Жизнь – это выбор, но Россия не живет, а пропускает жизнь мимо себя, пассивно подчиняясь ее выкрутасам. Петя

Маленький был связным революции, вывел в люди все Политбюро. Сейчас он стар, но, если понадобится, станет связным у новой власти и выведет в люди кучу гауляйтеров, не испытывая душевного дискомфорта. Власть, которой он присягал, не защитила его, бросила на произвол судьбы, ну и ляд с ней! И ведь он был когда-то членом партии, а потом выпал из нее, как лишний гриб из кузова. Он не выходил из рядов, боже упаси, и не был исключен, для этого надо его заметить, а он слишком ничтожен, мал, почти невидимка, – выпал, и все. Такое случилось и с более заметными людьми: Маяковский вступил, нет, ворвался, в партию в 1908 году, а после революции вдруг оказался беспартийным и вместо партбилета предъявлял «все сто томов своих партийных книжек». Петя даже этого не мог сделать. Сейчас он так же легко выпадет из числа советских граждан. Тут не было и тени цинизма, только смирение и безразличие. А вообще он изумительный переплетчик – руки трясутся, в глазах пьяный туман, а книгу обряжает, как невесту к венцу.

Я чувствовал величие Пети Маленького и мучился страхом, что не сумею быть на его высоте. Мы оба рабы, но он раб, плюющий на своих хозяев, я же раб преданный. Петя хочет переплестать, пить водку и петь про «бедное сэрце». А для этого ему вовсе не обязательно, чтобы вокруг пламенел алый цвет его республик, что требовалось – даже в любви – другому выпавшему из партийного кузова. Я сумел избежать комсомола, что было неправдоподобно по тем временам, я ненавидел строй, уничтоживший моего отца, сломавший хребет отчиму, отказавший мне в праве умереть за него, но с алым цветом у меня обстояло не так просто. Я не мог принять Гитлера. Не мог, и все тут! Так меня воспитали. Ничего не могли втемяшить в мою башку, кроме лютой ненависти к свастике. А мне тогда казалось, что красный и коричневый цвета не сливаются, более того, что красный враг коричневому. Понадобился опыт целой жизни, чтобы убедиться в своей ошибке...

9

Вот я пишу о том времени, думаю о себе молодом, и мне многое остается непонятным. Если б я писал другую книгу, то, наверное, сумел бы придать цельность и убедительность картине своей тогдашней душевной жизни. Но я пишу эту книгу и не хочу быть умным сегодняшним умом. К тому же я не убежден, что понимаю себя тогдашнего. Почему в мои переживания, размышления, тревоги тех дней не вклинилась мысль о Маре, о любимых друзьях Павлике и Оське? Павлик воевал, Оська был призван. Мне кажется, с Марой я тогда мысленно простился, не верилось, что можно выжить в дни войны в лагере, к тому же попавшем в зону боевых действий. Но с Павликом и Оськой не прекращалась связь надежды. А ведь мой выбор раз и навсегда отрывал меня от них. Мы еще не знали о дыме бухенвальдских печей, растопивших свои топки, но хорошо знали, что евреям под знаком свастики не жить. Почему же я не думал об этом, почему вообще не старался представить себе будущее, когда Гитлер все ближе подползал к Москве? Я нахожу лишь единственный ответ, в который верю: моя тайная душа знала, что Гитлеру не видать Москвы. Иначе почему я так легко, без малейших гарантий принял предложение мамы остаться? Я даже не спросил: на что она рассчитывает? На свое дворянство и антисоветизм, за которые ей простится маленькое заблуждение в моем лице? Или надежду ей давала смешанная кровь Дальбергов, включавшая и немецкую, да ведь в таком решении нельзя руководствоваться надеждой, не могла же мать так легко поставить на карту мою жизнь? Остается третье и последнее: я не Марин сын. Я не думал об этом так четко, как пишу сейчас, но смутные образы подобных мыслей проплывали на дальнем плане сознания, лихих не задерживал, не пытался вглядеться в реюющие тени, а от последней – и самой вероятной – безразлично шаркался.

Почему я не задал матери прямого и естественного вопроса? Не знаю. Не задал, и все. Быть может, мне отбил охоту касаться известных тем тот давний разговор, когда я получил по морде. И вообще я принадлежу к тем людям, которые не спрашивают. Такие бывают. Гарринча никогда не знал, против какой команды играет. Его это не интересовало, важно было играть. Да и зачем спрашивать? Правду люди говорят сами, а отвечая на вопросы, врут – больше или меньше. Не надо спрашивать, надо играть...

Некоторое время я жил беспечной русской жизнью в духе Пети Маленького, чему очень помогали ликеры Бачевского из реквизированного Клубом писателей погребка Алексея Толстого, бежавшего в Среднюю Азию. Клуб в это время захватили какие-то проходимцы, которые завели там бойкую торговлю прекрасными заграничными винами и ликерами, а также зеленой водкой «Тархун» – все из запасов советского графа. Москва жила нешумной уголовной жизнью: обчищали и захватывали оставленные квартиры, разворовывали склады, спекулировали и очень много пили.

В Москве было немало народа, который ждал немцев – не в смысле горячего желания их увидеть, а от усталости, безнадёги и веры, что с их приходом кончится проклятая, страшная война, уже принесшая неисчислимые потери и обнаружившая нашу неподготовленность, бездарность главного командования и жалкую растерянность того, кому верили, как богу. Обыватели хотели, чтобы скорее наступил конец, втихоря ругали Гитлера... и т. д.

Втихоря ругали Гитлера, расплескавшего весь наступательный пыл у стен Москвы, втихоря злились на трех полковников – Рокоссовского, Лизюкова, Доватора, продолжавших безнадежные бои с превосходящими силами противника, который это превосходство никак не мог реализовать. И чем дольше длилась эта непонятная нуда, тем хуже становились лица в свинцовом налете лжи и грязи – горячей воды не было, тем сильнее косили глаза, а уста несли несусветную чушь, призванную объяснить и оправдать причину неотъезда.

И тут появилась Хайкина. Откуда она взялась, не помню.

Во время войны то и дело возникали какие-то люди и, просуществовав для непонятной надобности малое время, исчезали навсегда. Пришел черед Хайкиной. Она была инструктором ЦК ВЛКСМ и входила в группу, которая должна была последней покинуть Москву. Маленькая, невзрачная, Хайкина носила полувоенное: китель, сатиновая юбка, сапоги, на тощей заднице болтался не то маузер, не то мой старый друг «монте-кристо», убивающий в десяти шагах человека. Голова ее была всегда опущена, а в редком выблеске серых глаз светилась мрачная решимость. Хайкина не ждала Гитлера, и Гитлер едва ли ждал встречи с Хайкиной в Москве.

Она предложила мне работать для отдела агитации и пропаганды, у них завал работы, а людей не хватает. Я сразу согласился. Так же легко и бездумно, как согласился на предложение матери остаться в Москве. А ведь одно согласие начисто исключало другое. Об этом мне напомнила теща, узнав, для кого я буду работать: «Геббельс сказал, что намыливает веревку для сталинских писак». И белозубо рассмеялась, представив ожидающую меня участь. Она меня ненавидела, считая, что я разбил жизнь ее дочери. Я принял это к сведению. Ну что ж, уйду последним, вместе с Хайкиной.

Конечно, мы все жили тогда, как в бреду. Мама не возражала против моей работы в комсомольском штабе, а ведь судьба Москвы еще не была решена. Ну, уйду я с Хайкиной в леса, а что будет с матерью кандидата на виселицу? Или она уйдет вместе с нами? Но она об этом не говорила. Она раскладывала пасьянс, курила и потягивала ликер Бачевского.

Нас заморочили войной только на чужой территории, крепостью брони и быстротой наших танков, точностью прицела наших артиллеристов и беззаветной отвагой сталинских соколов, а главное, полководческим гением Сталина, и чудовищная реальность войны, разгром, окружения, неисчислимые потери и враг под стенами Москвы – все это не укладывалось в сознание, в душу, мы были полностью деморализованы и не отвечали ни за себя самих, ни за близких людей.

Я больше месяца таскался в пустынное здание ЦК комсомола, написал для них кучу всякой дряни, но о чем была эта писанина, убей бог, не помню. Мысленно перебираю всевозможные темы, но не слышу в себе ответного толчка узнавания. И для кого я писал, не помню. Для фронта или для тыла, или для жителей оккупированных территорий, чтобы их подбодрить, а может, для юных фронтовиков, обращаясь к горячему комсомольскому сердцу. Твердо убежден, что это было никому не нужно. Мне думается, мои материалы просматривались Хайкиной и ее начальством, визировались и выбрасывались. Но наверняка попадали в отчет о проделанной работе, с которым знакомились другие бездельники, скрепляли своей подписью и передавали выше. Склонен думать, что мой скорбный труд значился в отчетах, так же идущих с этажа на этаж в здании наискосок от комсомольской цитадели – в сером доме на Старой площади. До Верховного Главнокомандующего эти отчеты все же не доходили, успокаиваясь недалеко от вершины пирамиды в сейфе отдела пропаганды под кодом либо «хранить вечно», либо «совершенно секретно».

Денег мне не платили и даже указали на бестактность подписи под материалами. Надо было довольствоваться сознанием, что ты включен в большое конспиративное дело. Я понимаю, зачем это было нужно Хайкиной, ее начальнику, начальнику ее начальника и все выше и выше, они получали за это оклад, паек, некомплектное обмундирование, личное оружие и боеприпас, но зачем это было нужно мне, так и осталось тайной.

Московская победа все расставила по своим местам. Если б не Хайкина, я бы считал, что холодное, мрачное, пустынное здание на Маросейке, мои походы туда с таинственной писаниной мне просто приснились в похмельном сне, но Хайкина объявилась через много-много лет в виде старой, седой, довольно благообразной, все время плачущей еврейской бабушки, чтобы попрощаться в связи с ее отъездом на историческую родину в США. Антисемитизм доконал-таки эту комсомольскую Жанну д'Арк. Мне кажется, она отыскала меня, чтобы в моем лице проститься со своим героическим прошлым. Она должна была уйти последней из горя-

щей Москвы с пистолетом на тощей ягодице, она уходила в общем потоке, безоружная, с обуглившимся сердцем...

Один наш знакомый порекомендовал меня отделу контрпропаганды ГлавПУРа. В это время формировались новые фронты со всеми полагающимися службами, газетами и т. п. Люди, владеющие немецким, шли нарасхват в седьмых отделах и газетах для войск противника. У меня даже не спросили документов, оформили с быстротой, невероятной для советских учреждений, особенно военных, где принято медленно поспешать – кутузовская стратегия, выдали обмундирование – офицерское, сапоги – кирзовые, бойцовские, дерматиновую сумку, из того же материала кобуру – без наполнения, и шапку-ушанку из поддельного ярко-рыжего демаскирующего меха, навесили кубари и вручили предписание со зловещим словом «убить» на Волховский фронт, в распоряжение ПУ, что я незамедлительно выполнил.

И тут еврейская тема надолго закрылась для меня. Сталин ненавидел евреев, но, поскольку он разыгрывал в борьбе с Гитлером и еврейскую карту, приходилось маскировать свою жидофобию. Сталин всегда старался решать две задачи одновременно: блокадным Ленинградом он сдерживал значительные силы немцев и заодно изводил голодом ненавистный с революционных дней город. Страх перед Ленинградом питался памятью о Кронштадтском мятеже, зиновьевской самостоятельности, объявленной оппозицией, и – поразительная наивность в таком ушлом человеке – революционностью ленинградского пролетариата. Рафинированную интеллигенцию бывшей российской столицы он тоже не выносил.

Любопытно, что высокий замысел Сталина разгадали крысы, дружно покинувшие незадолго перед началом блокады Бадаевские склады. Крысы прошли Невским, остановив все уличное движение, и скрылись в портовых складских помещениях и трюмах кораблей, а ночью запылали ни с того ни с сего гигантские Бадаевские склады, оставив Ленинград без продовольствия.

Конечно, Сталину хотелось бы под шумок войны разделаться с евреями, но он не мог стать дублером Гитлера. Адольф так далеко зашел на этом пути, что при всем старании Сталин обречен был оставаться его слабой тенью. Это унижительно. А главное, невыгодно политически. До поры Гитлер, отнюдь того не желая, спасал русских евреев.

Я читал в каких-то зарубежных изданиях, что подспудный антисемитизм начинался во время войны в армии. Но, очевидно, это касалось высших этажей командного состава, ни на передовой, ни во втором эшелоне я ничего подобного не наблюдал. В угоду союзникам и в пику Гитлеру в победных сталинских приказах – когда начались победы – неизменно звучали две-три еврейские фамилии, чаще других Драгунского и Крейзера. Думаю, что и лихой кавалерийский генерал, бывший бухгалтер Комитета кинематографии Осликовский был тоже грамотен по-еврейски. Хотя, как уверял один из персонажей Бабеля, еврей, севший на лошадь, уже не еврей.

Иосифу Виссарионовичу пришлось потерпеть еще несколько лет после окончания войны, хотя нервы были на пределе. Шесть миллионов уничтоженных евреев произвели впечатление даже на ледяное сердце мира, слово «геноцид» означало преступление против человечества, люди плакали над дневником девочки Анны Франк и подвигом учителя Корчака. Но подспудная работа уже велась, и руководящие кадры ориентировались должным образом...

10

В мою задачу не входит рассмотрение вопроса о положении евреев в Советском Союзе, мне это не по плечу, я пишу о себе, о судьбе и мировосприятии человека, прошедшего, по выражению остряка Губермана, «нелегкий путь из евреев в греки».

Поэтому о могучем антисемитском взрыве, произошедшем у нас в последние годы жизни Сталина, я скажу кратко, он меня не коснулся. То был взрыв замедленного, если так позволено сказать, действия. Не единая, все уничтожающая вспышка, как в Хиросиме, а некий постепенно нарастающий, с временными затуханиями, огневой вал.

Самые сильные взвей: борьба с космополитизмом, дело Пролетарского района, дело «врачей-отравителей».

На Западе существует мнение, что Сталин видел в евреях «пятую» колонну. Он мог им полностью доверять во время войны с Гитлером, для евреев, в отличие от русских, не существовало плена, но не мог испытывать того же доверия, когда главным врагом стала насквозь проевреенная Америка. А на этот грунт накладывалось личное отношение. Воистину зоологическая ненависть не мешала ему держать в личном приближении омерзительного еврея Кагановича. Он был ему нужен? Наверное, но Сталин легко жертвовал и более нужными и куда более ценными людьми. Каганович удостоверял в глазах мира его лояльность к евреям. Да, Сталин умел, когда требовалось, наступать на горло собственной песне. А евреям он не доверял в той же мере, что и всем остальным народам советской державы, включая русских, не больше. Он не мог серьезно относиться к еврейской «пятой» колонне, ибо хорошо знал, что все заговоры и злоумышления против советской власти, равно вредительство и шпионаж, рождаются в его собственном воображении на предмет профилактической чистки и утверждения себя единственного. Несмотря на трогательные усилия высоколобых Европы оправдывать любое злодейство страны социализма и ее лидера, антисемитизм вплетал плевелы и тернии в венок из белых роз, которым увенчала Сталина победа над Гитлером. Паранойя Сталина сказывалась в чрезмерной, ненужной жестокости, кровавом перехлесте всех его деяний, извращенной подлости в отношении близких людей, но изначальный замысел был неизменно точен, логичен с позиции его цели – ни следа, безумия. Он просчитался с Гитлером не потому, что свято верил ему или был по уши влюблен – это годится для сатиры, гротеска (Гитлер, конечно, импонировал ему, как и он Гитлеру), а потому, что случай нарушил точный расчет. Все было сделано безукоризненно: он запудрил мозги Адольфу договором о дружбе, дележом Польши, всемерной помощью сражающемуся рейху, одновременно заказал нашей промышленности танки на резиновом ходу – для гладких европейских дорог и самолеты-штурмовики без заднего прикрытия – все только на атаку, на мгновенный сокрушительный удар. Раздавить Гитлера и пройти, как нагретый нож сквозь масло, уже распотрошенную его временным другом и союзником Европу – вот в чем состоял сталинский план. Ему не хватило какого-то темпа, Гитлер опередил его себе на погибель. А ведь неизвестно, как бы повела себя наступательная машина Сталина, если бы оборонительная развалилась, словно трухлявый забор. Гитлер узнал о быстроходных танках и рискованных штурмовиках, понял все коварство Сталина и нанес превентивный удар. Историю сделали не главные действующие лица мировой трагедии, а шустрая немецкая разведка. Гитлер был слишком импульсивен – художественная натура, – он же видел в Финляндии, как воет Сталин.

Не менее точен был и расчет Сталина в отношении евреев. Ненависть тут ни при чем – острая приправа к блюду, – он не истерик Гитлер. Но он уже понял до конца, что для его глобальных планов в отношении Европы и всего мира ему нужен только русский народ, самый большой, самый терпеливый, покорный, безответный, мягкая глина в руках Ваятеля истории. Все остальные народы, населяющие четырнадцать союзных республик, для этих целей непри-

годны, а держать их на привязи можно с помощью уже действующей, отлаженной системы угнетения, ослабляя удавку лишь на «дни культуры» в Большом театре, когда непрерывный гопак, или удары локтем по бубну, или заунывный вздерг струны дутара, зурны, или протяжная дойна компенсируют колониальному народу утрату национальной самостоятельности. От русских дробцами не откупишься, надо что-то посущественней. Но ничего существенного дать народу, предназначенному на непрерывное заклание, Сталин не мог: ни земли, ни жилища, ни еды, ни одежды, ни предметов быта, ни тем паче свободы, да и кому она нужна? Но он мог дать нечто большее, довлеющее самой глубинной сути русского народа, такое желанное и сладимое, что с ним и водка становится крепче, и хлеб вкуснее, и душа горячее, – антисемитизм. То была воистину высокая плата за подвиг русского народа в Отечественную войну, за все неисчислимые потери, уже понесенные и предстоящие, за обреченность на дурную, нищую жизнь и новые чудовищные эксперименты. Параноиком был не Сталин, а все остальные, кто не верил в его антисемитизм, доказывал теоретическую невозможность расизма в социалистической и к тому же многонациональной стране. Сталин блистательно опроверг этих недоумков.

Вакханалия антисемитизма началась как будто бы с чепухи: с раскрытия псевдонима, что, кстати сказать, в стране с действующим авторским правом является противозаконным. Но поскольку в нашей стране никогда не было ни права, ни закона, новация лишь слегка встревожила интеллигентскую среду: зачем это сделали? В мрачной газете «Культура и жизнь», возглавляемой сталинской идеологической дубинкой Александровым, появилась разносная статья «Гнилая повесть и неразборчивая редакция». Тут была изящная игра слов, ибо «Редакцией» называлась сама гнилая повесть молодого писателя-фронтовика Н. Мельникова, опубликованная неразборчивой редакцией «Знамени». Почему прицепились к этой небольшой скромной талантливой повести, было бы вовсе непонятно, если б не одна маленькая подробность. Оклеветал фронтовую печать и военных журналистов не просто Н. Мельников, а Н. Мельников (Мельман). Пора было выступать в поход, сигнал был дан, труба сыграла, а ничего более подходящего, как на грех, в этот исторический момент не оказалось. Для пользы дела пожертвовали высокопатриотическим журналом и сверхпреданным – до подлости, до предательства – главным редактором Всеволодом Вишневским, которого в свое время использовали для травли Булгакова. Упомяну как о курьезе, я тоже попал в эту статью. В том же номере «Знамени» был опубликован мой очерк о председателе колхоза Татьяне Дьяченко, фигуре изумительно колоритной. Очерк был вскользь назван «слабым» и противопоставлен «хорошему» очерку Галины Николаевой, напечатанному раньше. Кто помнит этот «хороший» очерк, а мой очерк стал много раз издававшейся киноповестью, известным фильмом «Бабы царство» (премия в Сан-Себастьян), пьесой, годы не сходящей со сцены Ленкома, оперой, в золотом фонде радиокомитета хранится трехчасовая запись великой артистки Турчаниновой, читавшей этот «слабый» очерк. Но я понадобился лишь для общей картины упадка журнала, больше обо мне не вспоминали, а моего друга Мельникова (Мельмана) принялись травить столь усердно, что, проснувшись однажды поутру, он обнаружил все свои красивые пепельные волосы на подушке. То было единственное, чем он отозвался на «партийную критику». Он не каялся, не писал жалких писем «наверх», не бил себя в грудь на собраниях. Он жил, как жил прежде, с друзьями, выпивкой, писал в стол, и, что крайне редко бывает, его волосы отросли, хотя цвет их стал как-то печальнее.

Между тем выяснилось, что его зять, известный критик Борис Рунин – вот умора! – Рубинштейн, и пошло обвалом раскрытие псевдонимов. Оказалось, что наша литература поражена смертельно опасным грибком, имя которому космополитизм – раболопное преклонение перед Западом, и распространяют этот грибок люди, прикрывшиеся русскими фамилиями. Есть, конечно, и вовсе бесстыжие, вроде театральных критиков Юзовского и Гурвича, но подавляющее большинство из трусости или коварства замаскировались под русских. Ну и веселились же, читая о Петрове (Рабиновиче), разом всплывшие из темных глубин уже сгово-

рившиеся, организовавшиеся в крепкую команду черносотенцы. Семя упало на хорошо подготовленную и унавоженную почву – выступление «Культуры и жизни» было громом с ясного неба для таких лопухов, как мы, а в эшелонах власти, в том числе литературных, все было давно известно. У них и своя поэмка имелась «Кому на Руси жить хорошо». Конечно, жидам, которые, «наевшись чесноку», собираются в «Арагви» для своих заговорщицких – против эусского народа – дел. Подлы, но простодушны эти заговорщики – избрали конспиративным штабом самый популярный в Москве ресторан, под боком у Моссовета. Но глупость в политике всегда желанная гостя. Ведь политика имеет целью не избранных, а массу, то есть стадо идиотов, для которых чем глупее, тем доходчивей и лучше.

Редкая кампания проходила с таким успехом и неподдельным энтузиазмом. Пародией на некрасовскую скорбь упивались. Космополитов ненавидели и презирали. Наконец-то русским людям открылось, почему они плохо живут, а как еще жить, когда безродные схватили за горло! Трудящиеся возмущались, коллективы требовали расправы. Низкопоклонников поносили едва ли не хлеще, чем в свое время инженеров-вредителей, троцкистов и всех осужденных по процессам тридцатых годов. С литературы перекинулось в кино, изобразительное искусство, науку, и пошло-поехало! И поднимался в темных душах извечный русский вопрос: уж не начать ли спасти Россию старым проверенным способом? Но для этого, видимо, еще не настал час. Сталин не спешил. Ему некуда было спешить. Он следил за реакцией Запада. Она, как всегда, была благоприятной. С чисто азиатской, примитивной, но безошибочно действующей на тех, кто хочет быть обманут, хитростью он позаботился, чтобы в первый и главный список безродных космополитов включили писателя с русской фамилией, которая была его собственной: в жертву принесли драматурга Малюгина. Его вина заключалась в том, что он сделал когда-то инсценировку «Ночного автобуса» – сценария нашумевшего фильма. Высоколобые Кембриджа, Оксфорда и всех других мест обитания высоколобых немедленно заглотали наживку жадными ротиками и принялись галдеть: «Какой еще антисемитизм? А мистер Малюгин?» Пройдет немного времени, и те же «быстрые разумом Невтоны» будут отрицать антисемитскую подоплеку дела «врачей-отравителей»: «Какой антисемитизм? А мистер Виноградов?» Боже, милый боже, покарай этих самодовольных и самоуверенных кретинов!..

Сталинский апокалипсис странно тяготел к комизму. Это его качество в полной мере проявилось в борьбе с безродными космополитами и низкопоклонством перед Западом. Отставив русский приоритет во всех областях человеческой деятельности, дошли до полного маразма. Атом первым расщепил Ивашка Хмырев в XII веке, когда колот дрова. СССР – родина слонов. Это ведь не анекдоты, а крошечный сдвиг вполне серьезных утверждений советской пропаганды тех лет. Наследство Сталина не разбазарили его преемники, сохранив и комическую окраску злодеяний. Чего стоили людоедские – требования трудовых коллективов уничтожить Пастернака, начинающиеся стереотипно: «Мы Пастернака, конечно, не читали, но...» Хрущевские разборки породили самую длинную фамилию в мире: «Ипримкнувший-книмшепилов».

Кампания борьбы с космополитизмом была глупа по изначальной формулировке, ведь космополит, космополитизм – от века высокие слова, означающие приятие мира в целом, свободу от узких национальных амбиций, в сущности, это тот же интернационализм – основа советской идеологии, которую Сталин предал. Но при всей глупости и смехотворности кампании эта была предельно, трагически серьезна, что тогда мало кто понял, ибо означала решительный поворот к фашизму. Отныне между идеологиями коммунизма и национал-социализма можно было поставить знак равенства. Как бы потом ни колебалась линия партии, какие бы оттепели и перестройки ни тревожили стоячих вод нашего бытия, лишенного действительности, отношение к евреям – лакмусовая бумажка любой политики – не менялось, ибо неизменным оставалась основа – русский шовинизм. И никакой другой эта страна быть не может, не следует обманываться.

Таковы сегодняшние рассуждения, а тогда рассуждали по-другому. Борьба с космополитизмом оказалась первым советским мероприятием, не затронувшим нашу семью, до этого мы регулярно приносили искупительную жертву, а то и две. Как я уже говорил, статья-затравка «Культуры и жизни» задела меня крылышком, последствий это не имело, кроме того, что я долго не мог опубликовать «слабый» очерк в книге. Прогнозы отчима звучали оптимистически. Евреи и в самом деле зарвались, после войны с ними носятся во всем мире, как нищий с писаной торбой. Сталин обязан был сделать жест в сторону русского народа. Его цель не растоптать евреев, а поднять самосознание русских. Настоящий антисемитизм у нас невозможен. Никто не станет копаться в прошлом человека, у которого в паспорте стоит «русский» и русская фамилия. Грузин Сталин не может вести национальную русскую политику. Мать ему возражала. В настоящий махровый антисемитизм я тоже не верю, говорила она, гитлеризм у всех на памяти. Но насчет Сталина ты ошибаешься. Именно потому, что он грузин, он будет русопротивствовать. Смотри, он хочет, чтобы забыли о его грузинском происхождении. Как его играли раньше в кино и как играют сейчас? Геловани играл грузина: внешность, акцент, интонация, характерный жест. Теперь играет Алешка Дикий, сырой русак, пьяница, играет без акцента, без всякой восточной специфики – умного русского мужика.

Я вспоминаю об этом разговоре, и он сразу переходит в другой – исхода пятьдесят второго года, словно мать и отчим продолжали его без перерыва. На этот раз отчим отвергал антисемитскую подоплеку дела «врачей-отравителей», потому что не допускал их невиновности.

И чего я ополчаюсь на высоколобых, сидящих в своих закупоренных кабинетах в разных Оксфордах и Гарвардах, лишенных объективной информации, зашоренных воспитанием и моралью и потому начисто неспособных судить о глухих советских делах, когда в нашей собственной измученной семье человек, на своей шкуре испытавший бред и ужас тридцать седьмого года, распрощавшийся с наивными интеллигентскими иллюзиями, с «запечатанным» ртом, никак не мог поверить в абсолютный уголовный цинизм этого строя и взглянуть в истинное лицо Сталина.

– Ведь это так понятно и так соблазнительно для людей, распоряжающихся здоровьем и жизнью Сталина, убрать его подтихую, – рассуждал отчим. – Никому бы и в голову не вспало, что дело нечисто. Удивляться надо другому, почему этого до сих пор не сделали. Не решались, тянули и попались. Неужели можно допустить, что в официальном сообщении будут называть разведки, заказавшие убийство, без достаточных оснований? Тот же «Джойнт» немедленно опровергнет поклев и осрамит нас перед всем миром. Так грубо никто не работает.

– Не работает? – Мать гладила белье электрическим утюгом. Она проверила пальцем жар утюга и болезненно сморщилась. – А процессы тридцатых годов? Там тоже были обвинения в связях с иностранными разведками.

– А ты думаешь, их не было?

– Боже мой! Ты так ничему не научился. Как был доверчивым дурнем, так и остался. Значит, Мара поджигал Бакшеевские торфоразработки, Мейерхольд шпионил, Верочка Прохорова готовила покушение на Сталина, певичка Разина возглавляла террористический центр, а вечно пьяный Леонид Соловьев – неуловимый разведчик «Интел-лидженс сервис»?

– Не надо передергивать...

– Надо! – И мать запустила ему утюгом в голову.

Отчим уклонился, не столь ловко, как Федор Иванович Тютчев от утюга, посланного слабой рукой Денисьевой, ему задело надбровную дугу. Он плохо держал боль, закричал, стал метаться в поисках йода, ваты, бинта. Мать не сдвинулась с места, чтобы ему помочь. Свой жест в этом происшествии я не помню.

Залив ранку йодом и заклеив пластырем, отчим объявил мать сумасшедшей.

– Да, – печально согласилась мать, – я действительно сумасшедшая, если прожила четверть века с таким дебилом. Мне казалось, ты хоть чему-то научился, а ты застыл на том времени, когда хотел отдать руку за Сталина.

– Когда это было? – смутился отчим.

– Когда я тебя чуть не убила в первый раз. Но в третий – я не промахнусь.

– Оставь утюг в покое! – закричал отчим...

Мне захотелось соединить два разговора между мамой и отчимом в одну дискуссию, и я пропустил целый период жизни. О нем стоит вспомнить, он имеет отношение к моей теме...

11

За годы, предшествовавшие бескровному еврейскому погрому... Стоп! Я написал эти слова, как бы провалившись в те далекие дни, когда мы и знать не знали, что в подвалах НКВД расстреляны ни в чем не повинные крупнейшие еврейские писатели: Ицик Фефер, Перец Маркиш, Лев Квитко... Словом, в эти годы я чрезвычайно укрепился в своей русской сути, чему способствовала вторая женитьба, приведшая меня в истинно русский и высокосоветский номенклатурный дом. Тут к евреям было двойное отношение. Если они просто появлялись в доме, что случалось нечасто, к ним относились как к иностранцам – предупредительно и вежливо-отчужденно. Если же они оказывались в родне, то как к больным стыдной и неизлечимой болезнью. Этой болезнью страдал близкий родственник моего тестя, инженер-полковник Александр Иванович Артюхин, пьяница, хулиган, сорвиголова, по матери еврей. Круглолицый, курносый, правда, черноволосый, но брюнетов русских не меньше, чем блондинов-евреев, Артюхин и внешне, и внутренне был русским вахлаком. Он, как говорят в психиатрии, еще и огравировал свою сермяжность, тщательно следя, чтобы не проскользнула чужеродная – от мамочки – тонкость. В светло-карих грустных глазах его порой мелькал далекий свет разума, не подходившего к кабацким речам и разнузданному поведению. Его принимали, им не брезговали, но не было случая, чтобы новому гостю не сообщили двусмысленным шепотком: а знаете, Артюхин еврей! И это звучало так: не доверяйте видимости, у него спинная сухотка.

До сих пор не понимаю, почему этот дом не споткнулся на моем отчестве, меня сразу и навсегда приняли как своего, русского без сучка и задоринки и даже с юдофобским душком. Это льстило. Я подмечал порой на себе недоуменно-завистливый взгляд грустных глаз Артюхина, его томили подозрения и ранила моя полная ангажированность в доме, где он ходит с незримой шестиконечной звездой. Я всем обязан моей матери, в которой они, люди простые, взволнованно почувствовали барыню – из т е х. И так этим пленились, что не могли заподозрить ее в мезальянсе. Они легко поверили бы, что я принц или сын губернатора, но никак не однодеалец Артюхина.

Новая семья сильно русифицировала меня. Я научился не пить, а осаживаться водкой, научился опохмеляться так основательно, что нередко это переходило в новую пьянку. Раньше я покорно мучился разрывной головной болью и думать не мог о водке, а теперь освоил разные способы опохмелки: водкой, пивом, огуречным рассолом. Научился – при полном отсутствии слуха и чувства ритма – плясать русскую и польку-бабочку; стал пользоваться матом не только для ругани, но и для дружеского общения (странно, что армия не научила меня всем этим полезным вещам). Были важные открытия. Одно из них: пьяный русский человек не отвечает за свое поведение во хмелю, и никто не вправе предъявлять ему претензий. Некоторые промахи гостей обсуждались на кухне за опохмелкой: один пукнул в лицо домработнице, помогавшей ему надеть ботинки; другой кончил на единственное выходное платье нашей приятельницы, когда та позволила ему ночью прилечь к ней на диван; третий наблевал в ванну, потому что в уборной блевал другой гость; кто-то вынул член за столом и пытался всучить малознакомой соседке; сестра тещи обмочилась во время пляски; старая ее подруга танцевала шуточный канкан, забыв, что на ней нет штанишек, но эти «бетизы», как говаривал Лесков, вызывали скорее усмешливое удивление, нежели осуждение. Если же и был укор, то касался он не самого проступка, а побочных обстоятельств. Например: какой молодой мужчина носит сейчас ботинки? Или: когда член с наперсток, неудобно его даже своим предлагать, не то что незнакомой даме.

Тут жили и гуляли бурно: со слезами, скандалами, иногда мордобитием, все это служило хорошей подпиткой моей расцветающей русской душе.

Я не оскотинился вконец, потому что меня поддерживал нравственно другой дом, с которым я был связан едва ли не теснее, чем с домом моей жены. Я имею в виду не семейную нашу

коробочку в писательском доме по улице Фурманова, там было нехорошо и печально: долго болел отчим тромбофлебитом – эта болезнь стоила ноги его брату; мама умудрилась подхватить сыпнотифозную вошь в электричке (первый раз она болела сыпным тифом в гражданскую войну); тяжело недужила переходящими из одной в другую хворостями старая Вероня, – а дом напротив, где в квартире первого этажа жила семья Надежды Николаевны Прохоровой, вдовы наследника хозяина «Трех гор». Могучий старец, создавший самую мощную мануфактуру в Москве, был любимцем рабочих, но это ничуть не расположило советскую власть к его потомкам. Прохоров-сын успел умереть своей смертью, оставив семью в благородной бедности, чтобы не сказать – нищете. Быть может, холодность властей объяснялась тем, что по отцу Надежда Николаевна была Гучкова, дочь министра Временного правительства. Ее не посадили, и на том спасибо. Посадили ее сестру, которая изображена рядом с ней на очаровательном рисунке В. Серова «Сестры Гучковы». Дочь этой Гучковой находилась на попечении Надежды Николаевны.

После контузии и возвращения в Москву меня направили в страшную психушку Кащенко, откуда я бежал в тот же день. Мне стали восстанавливать душу в домашних условиях с помощью психиатра Маргулиса и невропатолога Минора. Чтобы занять мой день, мне взяли учительницу английского языка Надежду Николаевну Прохорову. Так познакомился я с ней, затем с ее дочерью Верочкой и племянницей Любочкой, буду называть их милыми именами нашей молодости. Вошел я в их дом уже после внезапной кончины Надежды Николаевны и тогда познакомился, а там и сдружился еще с одним членом семьи – худющим, длинновязым рыжим гением Святославом Рихтером. Он был другом Верочки и, бездомный, жил у них.

Встретился я там с личностью куда менее привлекательной – Игорем Шапаревичем, другом Любочки. Профессор к доктор математических наук в двадцать лет, он решал задачу Галуа, завещанную поколениям математиков юным французским гением, погибшим на дуэли. Шапаревич эту задачу блистательно решил, за что был увенчан академическими лаврами, высшей премией, после чего, устав от формул и вычислений, на какое-то время стал активным участником правозащитного движения, сподвижником и другом Солженицына, автором замечательной книги «Социализм как воля к смерти». Но завершил свои духовные искания самым неожиданным образом, превратившись в теоретика еврейского погрома и одного из самых яростных юдофобов страны. Вот чем успокоилось его сердце, как говорят в карточном гадании. Прохоровы объясняли падение их друга, отца Любочкиной дочери, тем, что он был учеником слепого математика Понтрягина, зоологического антисемита, а тот прошел науку у академика Виноградова, отца новой математической школы и дедушки нового антисемитизма. Игорь (в доме Прохоровых его звали ласково – Ирочка) подхватил эстафету своих учителей. Почему в России математический гений переплетен с жидоедством, мне непонятно. Шапаревичу евреи обязаны прозвищем «малый народ». Он создал теорию, согласно которой малый народ проник в утробу большому народу, как хореk в медведя, и выгрызает его изнутри. Если медведь – Россия не спохватится и не задушит в своем чреве хорька – жида, ей конец.

Шапаревич, чернявый, темноглазый и смугловатый, выдает себя за белоруса, но мне кажется, он является типичным подтверждением закона Вейнингера: антисемитами обычно бывают люди, несущие еврея в себе. Если даже так, то «Память» и все черносотенное движение закрывают на это глаза, счастливые иметь в своих непросвещенных рядах такого теоретика.

Но в ту пору Ирочка таился – совсем по-тютчевски: «Молчи, скрывайся и тай / И мысли и мечты свои», или еще не проникся святой верой своих учителей, да его бы в два счета выгнали из дома, как навонявшего конюха, здесь молились на Пастернака, здесь царил чистый дух всемирности. И казалось, он дышит тем же воздухом.

Одно настораживало: в нем не было присущих всем нам естественности и открытости. Он играл в человека другой эпохи, случайно заброшенного в нашу грубую действительность, от которой он защищался старомодной, чуть отстраняющей, нелюбезной вежливостью, сло-

воерсами, высвистываемыми в зубные щели, рассеянным прищуром человека, разбуженного среди ночи. Позже он добавил к этому некоторую сумасшедшинку.

Налет безумия появился, когда Любочка захотела ребенка. Эгоист и эгоцентрик до мозга костей, безобразно забалованный родителями, видевшими в нем гения из гениев, Ирочка не хотел никакой ответственности, не хотел становиться взрослым. Он предупредил Любочку, что не увидит лица своего ребенка. Но разве может что-нибудь остановить женщину, когда разыграл инстинкт материнства? Со второго захода Любочке удалось выносить дитя, родилась девочка. Ирочка сдержал слово: он давал деньги на ребенка, но отказался его видеть. Однажды – это было годы спустя, когда гнездо распалось: Слава Рихтер женился, Вера находилась в лагере, – дочь Шапаревича Олечка вбежала в комнату, где находился отец-невидимка. С воплем боли и ужаса Шапаревич выпрыгнул в окно. Он не слишком рисковал, квартира находилась на первом этаже.

Унаследовав способности отца, Оля поступила на математическое отделение МГУ. Однажды в университетском коридоре она столкнулась нос к носу с отцом, сделавшим вид, что он ее не знает. Оля заступила ему дорогу: «Знаешь, папа, хватит валять дурака».

Казалось, Шапаревич смирился. Оля делала ему честь: живая, одаренная, очень умная, она была похожа на обоих родителей, сумев растворить в материнской, но юной, свежей милоте непривлекательность отцовых черт. Летом все вместе поехали на дачу. Усталая, измотанная неблагодатной жизнью Любочка думала, что наконец-то ей засветило солнце. Она плохо знала характер своего долговременного спутника. Вскоре он привел в лом некрасивую, скучную, не нужную самой себе женщину и представил как свою жену. Не заставил себя ждать и ребенок. Растоптав преданное сердце безответного человека, унизив собственную дочь, Шапаревич великодушно разрешил им оставаться при нем.

Это хладнокровный негодяй. Недавно Американская академия, нерасчетливо принявшая Шапаревича в свои ряды, попросила его эти ряды добровольно оставить. Выгнать его по статусу нельзя, но расизм, антисемитизм несовместимы со званием американского академика. Любой человек, обладающий хоть элементарным чувством приличия, немедленно вернул бы билет, но только не Шапаревич. Он ответил, что не видит оснований для своего ухода. Бесстыдство – непереносимая черта антисемита. В математике гений и злодейство вполне совместимы.

В ту пору дом Прохоровых служил мне противовесом от моей новой семьи. Я сбрасывал личину разухабистого, свойского малого и становился самим собой. Мы с Рихтером почти одновременно вышли на Пруста и поселились на круче Сен-Жерменского предместья. Когда я шел с улицы Горького в Нащокинский переулок, то как бы проделывал путь от Васьки Буслаева к Шарлю Свану.

Прекрасные лица сияли вокруг меня; если исключить Шапаревича, завсегдатаями дома были последние могоикане той духовности, интеллигентности, веселой доброты, что вызрели в московском предреволюционном обществе на почве щедрого меценатства Морозовых, Мамонтовых, Третьяковых, Щукиных, Бахрушиных, Солдатенковых, Прохоровых. Многие из них смотрели на меня с бледно-порыжелых фотографий в резных деревянных рамках, развешенных по залоснившимся от старости обоям. Пушкина вскормил крестьянский оброк, а скольким обязана русская культура щедрой мощью российских предпринимателей! Из их бездонной суммы время черпало новую живопись и скульптуру, стили и манеры, музыку и стихи, издательства, журналы, газеты, музеи, выставки – все богатство серебряного века и очень много тучного зерна, на котором жировала насытая от века русская интеллигенция. И сами толстосумы, Кит Китычи темного царства, раскрывались талантами Саввы Мамонтова, дивной неврастенией Саввы Морозова, сильной и нежной красотой своих жен. Буквально на глазах возникал новый, безмерно привлекательный тип русского человека, но все рухнуло, и место Мамонтовых и Морозовых за пиршественным столом заняла моя новая родня. В их салонах замолк рахманиновский романс и зазвучало: «Гоп, стоп, Зоя, кому давала стоя?...»

Но с этой раздвоенностью я еще мог бы жить. Вскоре произошел куда более страшный разлом. Из лагеря вернулся «активированный по состоянию здоровья», что значит: отпущенный из-за колючей проволоки для скорой смерти, – мой отец. Ему определили и место для умирания – городок Кохму, под боком у текстильного Иванова. Я стал ездить к нему и вытягивать из смерти. Мы тщательно скрывали его существование от моей новой семьи и от всех, кто мог нас заложить. Это было унижительно, мерзко с точки зрения естественной морали, но никто по такой морали не жил. Все жили по уставу: лишь бы уцелеть. Разница лишь в том, что одни согласны были уцелеть любой ценой, другие повышали эту цену лишь до определенного предела, за которым им уцелеть уже не хотелось. Первые – кто беззаботно, а кто мучительно – переходили от устного доноса к письменному, от предательства к клевете, хотя даже это не гарантировало спасения, другие являли собой мышей-героев. Им все равно приходилось поступаться совестью на каждом шагу, ведь и молчание перед злом – грех, да и нельзя было всегда молчать, жить следовало вслух, а значит, врать.

Я ездил к отцу, придумывая себе командировки от разных газет, иначе не достанешь билета, а без билета ездили лишь слепцы и поездные солисты, возил ему баулы и мешки с продовольствием, а в доме жены подшучивали, что фронт проходит через Иваново. Я ездил к нему и после войны, а в доме стали подозревать, что у меня в Иваново любовница-ткачиха, возможно, с ребенком. Все это было оскорбительно, противно, глупо, но я боялся своего сановного тестя, боялся и за себя, и за Мару. Ведь срок наказания еще не истек и формально он оставался политическим преступником. Тесть не спустит сыну врага народа, обманом проникшему в его дом, его длинная рука может дотянуться и до Кохмы. Ведь он сгноил в тюрьме младшего брата, пошедшего по дурной дорожке.

Но еще сильнее меня угнетало другое. Приезжая в Кохму, я из русака становился евреем. Тут уже не открутишься, не забьешь баки, – отец рядом, он смотрит на меня снизу вверх, такой он маленький, ведь я тоже не гигант, любящими бедными глазами, он все время держит меня за руку, словно боясь, что я убегу. И я убегаю через три-четыре дня, потому что мне нужно назад, в мою фальшивую, искусственную и такую ненадежную жизнь.

Но я еще не убежал. Мы гуляем по улицам Кохмы, и слово «жид» преследует меня. Жид!.. Жид!.. Жид!.. – кричат прохожие, уличные мальчишки, собаки с потными, грязными языками, козы в огородах, пыльные кусты акации, рослые вязы, кирпичные стены Ясунинской фабрики, где служит отец. Конечно, никто не кричит, но что мне до этого, если слово кричит внутри меня.

Мы выходим на главную площадь с розовой каланчой. Площадь носит имя Заменгофа, создателя языка эсперанто. Какое отношение имеет он к Кохме и какое отношение имеет Кохма к искусственному, никому не нужному языку и его изобретателю, непонятно. Никто здесь не знает, кто такой Заменгоф. Но площадь не переименовывают. Может быть, кохмичане любят евреев, единственные на всю Россию, души в них не чают и ничего не могут с собой поделать? Не исключено, что они составляют секту, вроде мормонов или молокан, секту жидовствующих, и готовы распахнуть мне объятия, если я сделаю хоть шаг им навстречу. Но я не сделаю. Я не верю в их любовь. Я боюсь их, смертельно боюсь свидетелей моего позора.

Мы покупаем водку в ларьке возле каланчи. Медленно бредем домой, у отца все время прихватывает сердце. И я напиваюсь. И плачу. Плачу от горя, что стыжусь того, что дано мне отцом. Ведь я люблю его. Я восхищаюсь им. Вот человек, который уцелел, в отличие от меня, хотя прошел ад. Все его осталось при нем. Эта удивительная незлобивость при полном понижении низости окружающих. И он вовсе не стесняется быть евреем. Ведь он не был им до революции, но стал им по собственному выбору. Он выбрал то, что хуже, другой выбор был бы для него унижителен. Боже мой, почему я не могу быть евреем, как все?!

Я думал о том, сколько времени мы с ним потеряли, ведь в детстве я видел его так мало, он жил какой-то своей жизнью и не давал себя любить. Потом, когда он вернулся из ссылки

на короткое время, отпущенное ему до паспортизации, у нас не склеилось. Он чуть натужно и запоздало начал играть в отца: пытался помогать мне по математике, дававшейся мне с трудом, но легко раздражался, а это верный способ оттолкнуть меня. Я обидчив и злопамятен – приятный характер! – при этом добр и немстителен, так что злопамятство доставляет неудобство лишь мне самому. Ты вроде бы простил человеку свою обиду, вернулся к дружеским, доверчивым отношениям, а заноза в душе сидит и колется. Во мне нет свойственной многим людям настороженности, боязни обнаружить мягкое подбрюшье, может, поэтому я и нарываюсь чаще других, и вошедший в меня шип, как бы ни сложились отношения, уже не отпадет. Конечно, отцу я простил маленькие давние обиды, он был слишком несчастен, и жалость перекрывала все, но мы не сблизились за тот без малого год, что жили вместе. Нас соединила навсегда колючая проволока Пинозерского лагеря, куда я к нему ездил перед войной.

Теперь я понимаю, откуда шли его нервность и нетерпечность, столь несвойственные ему, в доме была двусмысленная обстановка, ведь фактически мать уже имела другого мужа, который стал моим отчимом, как только Маре отказали в московском паспорте и возникла опасность, что мать ждет та же участь. Тогда они мгновенно развелись, и в тот же день, в том же загсе мать расписалась с отчимом – это делалось с идиллической простотой. Она получила чистый паспорт, тот самый «серпастый, молоткастый», которым так гордился на страх и зависть врагам Маяковский, и я был в него вписан. Мы остались в Москве. У отца с Рогачевым всегда были отношения взаимоуважения и живой приязни. Они нравились ДРУГ другу. Отец наивно поблагодарил его за оперативную помощь. Потом были грустные проводы отца в новый круг ада.

Совки, исповедующие героическую мораль, но лишенные обычной, на каждый день, могут строго спросить: почему моя мать не последовала за мужем в его изгнание? Ведь декабристки через всю огромную, грязную и снежную Россию устремились на Нерчинские рудники к своим мужьям и суженым. Обладатель «гордого взгляда иноплеменного» с удивлением добавит: разве в Бакшееве нельзя было жить? Ответу сперва на второй вопрос: нельзя, и Мйрина судьба это доказала. Случайный сброд, осевший на болотистой, смрадно дышащей подземным тлением почве, исходил скукой, злобой, завистью и доношением – в тщетной надежде такой ценой выгадать у судьбы. Мать скорее наложила бы на себя руки, чем обрекла меня на жизнь в Бакшееве. Не надо думать, что Бакшеево являлось каким-то монстром, вся страна сплошное Бакшеево, но в Москве и Ленинграде можно было создать себе непрочную изоляцию.

Отвечаю поклонникам декабристок. Мать давно уже была с другим, но ради Мары сохраняла видимость брака и семьи, чтобы ему было куда вернуться, сберегла его место. И не ее вина, что это оказалось гнездо кукушки...

Мара умер в канун моего дня рождения в 1952 году, он хотел сделать мне подарок: освободить от излишней низости. К тому времени моя московская география изменилась: в ней не стало престижного дома на улице Горького. Я не сказал бы, что «была без радости любовь», но вот разлука обошлась без печали. К этому времени мы с женой слишком далеко ушли друг от друга. К сожалению, не стало и милого дома в Нащокинском. Разумеется, физически не исчез этот крепкий дореволюционный доходный дом, но стал для меня чужим. Из него ушла душа – Верочка, которую посадили на десять лет по доносу ее нового друга, заменившего ей... сама пишет руку, нет, не заменившего Рихтера. А Любочка была занята своим молодым материнством, тяжелой борьбой за существование и за Шапаревича – расчетливого безумца.

Последние два года приезды отца (по истечении срока наказания ему разрешили проводить отпуск в Москве) стали чуть менее унижительны. Он познакомился с моей новой женой, близкой подругой матери, не было уже поспешных прятаний в ванную комнату при внезапном стуке в дверь. Если же кто-то непрошенный являлся, его выставляли вон, не слишком затрудняясь предлогом. Мы устали бояться. Хотя время было страшное: уже разделились с Пролетарским районом, где сосредоточена чуть не вся московская промышленность; это смутное

дело так и не попало на страницы газет (ходили слухи о шпионаже, вредительстве, все старые, знакомые мотивы, но звучали они как-то приглушенно). Когда же смрадные волны улеглись и можно было подсчитать потери, то оказалось, что пострадали, за редчайшим исключением, одни евреи: многих расстреляли, в том числе любимого помощника моего тестя и врачей из заводской поликлиники. Самого тестя за потерю бдительности понизили до директора небольшого авиационного завода. Другие получили предельно крупные сроки. Непонятное дело, в котором смешались директор завода «Динамо» и зубной врач, знаменитый конструктор автомобильного гиганта – да еще с женой – и заведующий заводским клубом. Состав был очень пестрый, объединяло одно – жида. Литературные евреи, еще не оправившиеся от борьбы с космополитизмом, упорно не хотели видеть в трагедии Пролетарского района антиеврейской подкладки. А уже зрело в страшном лоне власти дело «врачей-отравителей». И в то же время, повторяю, наш привычный страх полинял.

Сейчас тяжело и стыдно писать о надругательствах над отцом. Но тогда вся наша конспирация была так же естественна, как ночной ужас, холодный пот при резком автомобильном гудке под утро, как двоемыслие: что для дома, что на вынос, как участие в комедии выборов. Я вел рубрику в сельскохозяйственной газете «В Сталинском избирательном округе», и мне не только не плевали в лицо, но еще завидовали, что я нашел такую кормушку. При появлении очередного опуса Мара с доброй улыбкой говорил: «Еще одно достижение социалистического реализма».

Но на эту тему равное собеседование может быть лишь с теми, кто сам прошел все круги ада. И все-таки самым позорным воспоминанием тех лет во мне осталось то, что мы и Москву сделали для отца зоной...

12

Женщина, которую я назвал своей женой и которая была мне прекрасной женой, официально ею так и не стала. Поначалу этому помешало то, что она не была разведена со своим первым мужем, севшим еще в тридцать седьмом году, через месяц после женитьбы. Ко времени, о котором идет речь, он был отпущен на поселение, где женился вторично. А был указ: за двоеженство – два года тюрьмы, по году за каждую жену. Леля боялась привлечь к нему внимание заочным разводом, она и со вторым мужем, от которого имела ребенка, прожила нерасписанной. В дальнейшем нам помешали узаконить наши отношения другие причины, о них – ниже.

Леля ездила в Кохму хоронить Мару, я в ту пору надолго вышел из строя – рецидив контузии. Она была мне всем: лучшей из любовниц, самым верным и надежным другом, защитой от всех напастей, удивительно умела проникаться всеми моими интересами, будь это Лемешев, бега, грибная охота, балет, волейбол, автомобиль; она помогала мне собирать материал для идиотских статей о Сталинском избирательном участке, позднее – переводить прелестного «Бэмби» с немецкого. Я могу еще много говорить о ней: о ее поразительной ручной умелости, она умела руками все – шить, вышивать, делать шляпы, починить любой испорченный прибор, о ее уме и остроумии, собачьем нюхе на людей. Но и это еще не все. Она была чудовищной врушкой – и для дела, и совершенно бескорыстно. Последнее преобладало. Приведу один лишь пример. Я приехал поздравить Лелю с днем рождения, она ждала к ужину школьных подруг. Я спросил об одной из них, с чудными ореховыми волосами и странным именем: Марыся. Леля на мгновение задумалась, лицо ее опечалилось, на ресницу набежала слеза. «Очень плохо. Не спрашивайте. Она в сумасшедшем доме». – «Боже мой, а есть надежда?» – «Увы... Она ест собственный кал». Леля чуть не плакала. Дернула же меня нелегкая завести этот разговор в день ее рождения! Я подыскивал слова для утешения, но тут в дверь позвонили, пришла Марыся. Оживленная, радостная, вокруг румяного лица метались легкие ореховые волосы. «Надеюсь, она не переела, у вас же ужин», – прошипел я в лицо Леле. Та сделала губами – пр! – и развела руками: мол, бывает. Зачем она наврала? Ей показалось, что наша короткая встреча слишком пресна, не останется в памяти. Возможно, она недавно читала о Мопассане в сумасшедшем доме. У него есть запись: «Господин Мопассан превратился в свинью», сделанная в коротком просветлении, когда несчастный обнаружил, что он делает то самое, в чем Леля обвинила Марысю. Леля казалась смущенной, но не пристыженной. Никто ведь не пострадал, но какой-то миг бытия наполнился ужасом, болью, состраданием, значит, он не скользнул мимо, а был пережит.

Сама Леля называла себя выдумщицей, фантазеркой, врунью – отвергала. Она зарабатывала на жизнь тем, что делала шляпки (по образованию историк) и постоянно обманывала заказчиц – умело и вдохновенно; она развила в себе воображение, как развивают мускулы, ее распирала потребность разнообразить рутинную жизнь.

Все перечисленные мною качества Лели, которые в таком сборе могут быть утомительны, были растворены в стихии женственности. Ни одна женщина не вызывала во мне такого желания, как Леля, и ни одна не шла навстречу с такой охотой. Мы занимались любовью там, где нас застало желание: в подворотнях, подъездах, на снежном сугробе у нее во дворе, на угольной куче в моем дворе, на крыше, на дереве, в реке, в машине, в лесу, на лугу, в городском саду, где всегда играет духовой оркестр, просто на улице, у водосточной трубы под шум дождя.

В старости она растолстела, перестала следить за собой, но в ту пору являла собой мой любимый тип «бельфам». Чуть выше среднего женского роста, она казалась высокой, статная, с красивыми ногами, добрым, мягким лицом, носом уточкой, кареглазая, с пухлым ртом, она воплощала в себе ту скромную, уютную русскую милоту, лучше которой нет ничего на свете. И каково же было мое потрясение, когда оказалось, что она еврейка. У меня уже возникали

подозрения на ее счет после знакомства с ее матерью – та же Леля, но осдобневшая, с чертами очень схожими, но как бы сместившимися в сторону Ближнего Востока. Леля со снисходительной улыбкой завзятой вруньи уверила меня, что это бред. Мне хотелось верить, я знал ее дядю по отцу (черту лысому он был дядей), актера Малого театра Ивана Петровича Поварского (Поварешкина), и это укрепляло меня в желанном заблуждении. А потом все открылось, почти так же наивно и некрасиво, как в случае с сумасшедшей Марысей. Леля издала губами «пр!» и развела руками – номер не удался. На этот раз трагически для нее, Я сказал прямо и твердо, что никогда не свяжу с ней судьбу. Хватит мне мучений с самим собой, еще корчиться из-за жены-еврейки у меня нет душевных сил. Самое удивительное, что она со мной согласилась, до такой степени понимала меня.

У нас ничего не изменилось. Она меня так же любила, и я ее, и она оставалась для меня не менее желанной, старея, дурнея, это уже ничего не значило в той физиологической тайне, какой она для меня была. Ни с кем никогда не достигал я такой благодной исчерпанности, как с ней. Так длилось до моей последней женитьбы двадцать пять лет назад. Но душевную мою близость с ней не прервала и ее ранняя смерть.

Не так давно я узнал, что она говорила близким людям о моей жестокости. Наверное, она права, хотя я этой жестокости в себе не ощущал. И все же я предал ее, как предал отца, как предал самого себя. Но если б весь мир заорал на меня голосом во сто крат мощнее иерихонской трубы: опомнись, устыдись, это же фашизм наизнанку, – я не дрогнул бы. Мне не вышагнуть из самого себя, как, впрочем, и любому другому человеку. Мне понятно отчаяние Валтасара, хотя на моей стене начертаны другие огненные письмена: жид... жид... жид...

13

В иной исторической действительности, лет через десять после нашего объяснения с Лелей, в один из тех доверительных разговоров, что у нас сохранились с дней моей юности, я рассказал матери о том, что ныне поведал «городу и миру». – Как странно, – сказала мать, покусывая губы, что было признаком волнения и озабоченности. – Я не знала, что это для тебя так серьезно.

Интонация искренности не могла ввести меня в заблуждение, она множество раз, с той неправдоподобной поры Армянского переуллка, когда слово «жид» впервые обожгло мне душу, могла убедиться, как остро и болезненно отношусь я к своему нерусскому происхождению. Но ведь человек слышит лишь то, что слышит, видит лишь то, что видит, угадывает лишь то, что хочет угадать, всяк служит только своему нраву, и ничего с этим не поделать. Думаю, что мать и сама за истекшие мрачные годы пересмотрела свое беспечное отношение к национальному вопросу, говоря языком газет. Ее фраза означала совсем другое, нежели сообщение о неосведомленности, – попытку самооправдания, сожаление...

Этот разговор происходил в исходе хрущевской оттепели, когда все перестали верить, что выдохшийся, отяжелевший Никита Сергеевич приведет нас из сопливой, насморочной поры, в которой мы безнадежно застряли, к пышному расцвету настоящей примаверы. Но мы привыкли к нему, к его хамству, пьянству, негубительным разносам и угрозам, к его честной некомпетентности и наивности, и все как-то устроились посреди квелой социальной бестолочи.

Мы вели наш разговор на даче, которую построили из моего первого киношного заработка, кругом были наши деревья и кусты, наши цветы и трава, наши клубника, малина, яблони, сливы, все это было для нас с отчимом ново и непривычно, а для матери наоборот – возвращение к старому, к собственности, пусть в очень скромном виде. И теперь у нее было главное – челядь: шофер, две домработницы, садовник, их можно считать дворовыми, а были еще оброчные: молочница, электрик, газовщик и «навсеруки» – он брался починить часы, сложить печь, принять ребенка, ни о чем, естественно, не имея понятия. Мама могла с полным правом повторить слова летописца Пимена: «На старости я сызнова живу». И жизнь эта казалась гарантированной. Никто не ждал ночного визита и гудка «черного воронка», даже доносы не слишком заботили. Люди потихоньку, полегоньку возвращались к себе, к своей истинной сути. Возможно, мать решила, что пора и мне узнать печальную быль своего начала.

Она посоветовалась с отчимом, потому что и он присутствовал при ее рассказе. Моим отцом был Кирилл Александрович Калитин, расстрелянный на реке, увековеченной Тургеневым, Красивой Мече, и для верности утопленный в ней в одно время с моим появлением на свет. Точная дата его гибели неизвестна. Это были те места, которые вскоре оказались плацдармом «антоновщины», как зловеще называли власти всплеск крестьянского отчаяния. Движение было беспощадно, с неимоверной жестокостью подавлено крупным соединением молодой Красной Армии под командованием Тухачевского. Крестьяне просто хотели получить обещанную Лениным землю. Человек с ружьем, крестьянин в солдатской шинели, для того и пошел в революцию. А студенту Калитину, уроженцу Ефремова, под боком которого находилось имение его родителей, хотелось помочь землякам.

– Если б не Мара, неизвестно, остались бы мы с тобой живы, – сказала в заключение мать слова, определявшие все ее поведение. Она не хотела, чтобы кто-то потеснил его в моей душе. Но когда я рассказал о Леле, она решилась.

– За что его расстреляли? – спросил я.

– И утопили, – уточнил отчим.

– Он это уже знает, – холодно сказала мать. – Да ни за что. Война там еще не началась.

– За язык, – сказал отчим. – Как всех интеллигентов.

Было бы куда лучше, если б он стрелял. Мать напрасно опасалась, что романтический образ отца-жертвы вытеснит из моей души Мару. Узнавание прибавило мне ненависти, омерзения, но не любви.

Когда-то мне подарили изданный в Англии альбом с фотографиями, посвященными исходу старой России и революции. Там был ужасающий снимок. На длинный острый сук дерева нанизан через зад голый польский (почему-то) офицер, а вокруг лыбятся красная солдатня, все те же крестьяне с ружьем. Насадив пленного на вертел, они потопают дальше убивать и умирать за землю и за волю. Эта отвратительная фотография мгновенно впечаталась мне в мозг, едва я услышал о расправе над ефремовским студентом. Конечно, на Красивой Мече было опрятнее: пуля и вода, еще подернутая внешним ледком. Наверное, ледок потрескивал, когда просовывали в воду тело мальчика, полюбившего больше жизни русского мужика. А в Москве его ждала женщина, которая так и не смогла выкурить из чрева нежеланный, никому не нужный плод, то есть меня. Чего бы я ни отдал, если б хоть один из моих многочисленных отцов был виноват перед этой проклятой властью. Они все страдали ни за что, даже студент, которому так дорог русский мужик, но помочь ему он пытался языком.

Получив от судьбы столь ошеломляющий подарок, я повел себя как хищник, перед которым внезапно распахнули дверцу клетки. Известно, что ни один хищник не совершает прыжка в долгожданную свободу, а довольно долго снует челноком возле отверстой дыры, как-то негодуяще рыча, утробно ворча, и уж затем не прыжком, а мелко семеня, выходит наружу, чтобы приняться за дело. Я, правда, не рычал, не ходил взад-вперед на мягких лапах, но укрылся на даче, целыми днями валялся на диване в кабинете и прокатывал через душу прожитую жизнь. Делал я это удивительно неэнергично, то и дело обрывая течение мысли и начиная сначала, и не понять, выверял ли я ход воспоминаний или терял нить. Конечно, я очень устал душевно, неся свой груз, но привык к нему и, сбросив, испытывал не облегчение, а утрату державшего меня стержня. Я обвалился, запал в самого себя. Мне надо было разобраться в себе, прежде чем начать жить дальше, с новым знанием своей сути.

Теперь я понимал те странности в поведении матери, которые не раз озадачивали, а порой тяжело ошеломляли... Когда мы выбирали мне литературный псевдоним и отчим забраковал мамины родовые фамилии, она, будто решившись, но неуверенно предложила: Калигин, и я сразу согласился, прозвучала странная фраза: отчество ты, надеюсь, не станешь менять? Она понимала, что первый шаг прочь от Мары сделан, и не хотела, чтобы он выбыл из моей биографии. Она честно отслуживала ему свой долг и хотела от меня такой же преданности человеку, которому я обязан жизнью больше, чем случаю, неосмотрительности и несостоявшемуся убийству.

Понятно было, и почему она с легкостью предложила остаться в обреченной, как тогда казалось, Москве, мне в самом деле ничего не грозило. А моей безымянной деятельности у Хайкиной она не придавала значения, уже поняв, что смены диктатора не будет.

Но мне надо было разобраться не только с этим. Почему-то лезут ассоциации из мира животных. Что почувствует павлин, если ему разом – без боли – выдрать хвост? Наверное, ужасный дискомфорт, стыд и горе, что лишился такой красоты. У меня тоже вырвали хвост, стыда я не чувствовал, скорее наоборот, но дискомфорт и сожаление были. Мамин род был для меня эфемерен. Я не знал ни дедушки, ни бабушки, покончивших самоубийством задолго до моего рождения, о тех же, кто им предшествовал, не имел никакого понятия, кроме того, что иные подвизались при дворе. А за Марой были живые лица: едва-едва мерцающий, дискретный, но милый образ бабушки и – весь плоть и жизнь, тепло и любовь – мой чудесный дед; через эту семью я был связан с историей вплоть до Петра, когда геройствовал ревельский, в пороховом дыму, генерал-майор Дальберг, но особенно жаль мне было лишиться генерал-лейтенанта Дальберга, повернутого к мужичкам совсем иной стороной, чем бедный ефремовский студент, и немецкого чемпиона, игравшего с гениальным Морфи. Не хотелось терять – из дру-

гого рукава – знаменитого Герберта Маркузе и пианиста Блуменфельда, тут были личности, одолевшие время и безмолвие, а сейчас за мной зияла пустота, сбоку припека маячили – плохой художник Мясоедов да пушкинский дурак.

А почему я должен отказываться от тех, кто за Марой, в нем наша нерасторжимая связь...

14

Наконец я очухался, до конца осознав случившееся. Итак, я сын России, а не гость нежеланный. И я не обременен излишней благодарностью к стране березового ситца, ибо видел ее изнаночью, нет, истинную суть. Я в отличной физической форме и не боюсь драк, в том числе с применением вспомогательных режущих, колющих и дробящих кость предметов. Я могу дать кому угодно в морду, не опасаясь, что за плечами обиженного встанет вся страна огромная, готовая на смертный бой, ибо та же страна за моими плечами. Так что разборка пойдет один на один. Думалось об этом со сладостью и зубовным скрежетом. Почему-то иного способа реализовать обретенное богатство я не видел.

Лекарство, полученное от мамы, было сугубо внутреннего, но никак не наружного применения. Уточнениями в моей биографии я не мог ни украсить личное дело в отделе кадров Союза писателей, ни поделиться с друзьями. Среди преступлений коммунистического режима было два, которыми этот режим особенно дорожил: разгром Кронштадтского мятежа и ликвидация антоновщины. Быть может, потому, что здесь имелся не вымышленный, а реальный враг. С мятежными матросами и взбунтовавшимися крестьянами не надо иметь никаких связей.

Боясь разворошить много боли, я ни о чем не спрашивал мать. Но любопытство мое было все же растревожено. Меня не устраивала причина гибели студента, которая с подсказки отчима прозвучала: за язык. И что значит «за язык»? Если он просто болтал – это одно, если вел агитацию среди крестьян – другое. Надо было бы съездить в Ефремов, но ведь у нас невозможны нецелевые поездки. В гостиницу без командировочного удостоверения не попадешь, да и бдительность в райцентрах ничуть не уступает столичной. Если я буду мотаться по городу и расспрашивать встречаемых людей о человеке, чье имя может быть здесь одиозным, это плохо кончится. И тут мне повезло. Журнал «Знамя», членом редколлегии и постоянным автором которого я был, отправился в Ефремов для выступления на химическом комбинате имени Лебедева.

На подъезде к Ефремову мы миновали Красивую Мечу, узенькую невзрачную речушку, никак не отвечающую своему названию. Дело было ранней весной, речка то ли вскрылась, то ли не замерзала – угольно-черная полоска воды меж белых от снега плоских голых берегов как-то не связывалась со злодейством.

После выступления я все ждал, что кто-то из старых производственников пришлет мне записку или подойдет по окончании вечера с вопросом, не в родстве ли я с живущими в Ефремове Калитиными или проживавшими здесь раньше, но не дождался. Надежда не оставляла меня и во время затяжного банкета и на другой день, когда мы осматривали предприятие. Я уже смирился с неудачей, и вдруг что-то засветило. По существующей традиции нас водили по городу, хотя смотреть не на что, но пришлось подчиняться кропотливому энтузиазму гдадобровольца, учителя-пенсионера, основателя краевого музея. Завершив свою нудную экскурсию, он подошел ко мне и спросил, не в родстве ли я с ефремовскими старожилками Калитиными, последний из которых умер в глубокой старости два года назад. Это было до того похоже на то, что я придумал, что у меня слегка закружилась голова – нельзя предвидеть настолько буквально. Я ответил, что нахожусь в дальнем родстве с Калитиными, у которых под городом было имение. Он задумался. Да, он слышал об этих Калитиных, но спрашивал о Других. Они не дворянского звания, из купцов. «Нет, к этим я отношения не имею. А вот подгородние меня интересуют». – «Вам надо поговорить с Буниным. Может, он знает». – «Это что – прозвище?» – спросил я. Он засмеялся. «Да нет, самый настоящий Бунин, сын младшего брата писателя. Он оказался единственным наследником Ивана Алексеевича, но ни за что не хотел принять наследство, мол, никакого отношения он к этой семье не имеет». – «Боялся родственников за границей?» – «Нет, он ужасно стыдился, что незаконнорожденный. Родители не были

повенчаны». – «Вы это серьезно?» – «Честное, благородное слово. Он так ничего и не взял, все передали в орловский дом Лескова». – «А что там было?» – «Что-то из мебели, книги, ничего ценного, если не знать, что это бунинское. Но еще деньги следовали». – «Какая странная гордость! Другой бы помер от счастья быть племянником автора «Лики». – «А он не читал. Он имени Бунина слышать не может. Но вам стоит с ним повидаться. Он старше вас и помнит прежнее время».

Этот славный человек устроил мне встречу с незаконным племянником моего любимого писателя. Наученный им, я словом не обмолвился о Бунине, просто спросил как старожила, не знал ли он студента Калитина, пропавшего в годы гражданской войны.

Он долго молчал, жуя губами, и, как мне показалось, не только не пытался вспомнить, а, похоже, изгонял из сознания все воспоминания. Его мыслительный аппарат был направлен на разгадку подвоха, содержащегося в моем желании увидеть его и в заданном ему невинном вопросе. Одно неосторожное слово, и я, хитрая московская рожа, тут же приплету сюда Бунина и нанесу удар в самое больное место тонкой души бастарда.

Тогда я ему сказал, что это мой отец, которого я в глаза не видал и лишь недавно узнал о его существовании. Я не боялся этого совестливого и замкнутого человека. Возможно, ему привиделось тут что-то схожее с его бедой, но устричные створки разомкнулись и бесцветным голосом он сказал, что фамилия ему знакома.

– Тут были две семьи. Вы, очевидно, говорите о хуторянах... Кирилл Александрович... Был такой, носил студенческую тужурку... А где учился, не помню... В Москве? Он, похоже, учение бросил...

– Его расстреляли? – спросил я в упор.

– Не знаю! – Племянник Бунина чуть отстранился. – Он пропал.

– Его расстреляли на Красивой Мече.

– В те годы многих... прекратили.

– За что?

Он как-то странно посмотрел на меня.

– За сочувствие мужику. А подробностей не знаю. Я тогда мальчонкой был. – Он улыбнулся, показав кариозные зубы. – У него, как у вас, уши были прижаты к голове. А так не похож. Высокий, худой, лицо мягкое... Вы простите.

Когда мы возвращались в Москву и переезжали по мосту, уже в сумерках, Красивую Мечу, мы увидели голого человека, он стоял на берегу у самой кромки черной воды, спиной к реке, лицом в поле, прикрывая руками низ живота. Кругом ни души.

– Смотрите, морж! – воскликнул Катинов, ответственный секретарь журнала.

– Нет, это мой отец, – сказал я...

15

Может ли человек чувствовать происходящую в нем перемену? Мне кажется, нет. Во всяком случае, я этого никогда не чувствовал, хотя на протяжении долгой жизни такие перемены со мной происходили. Из дали лет их можно увидеть, особенно если тебя что-то подтолкнет. Когда-то одна известная писательница прислала мне письмо, где вспоминала свою литературную молодость. Я имел некоторое отношение к самому началу ее пути. «Почему-то в ту пору, – пишет она, – Вы очень много дрались». Так оно и было, я расквитывался за того несчастного мальчика, который безропотно принял столько побоев и унижений. Никогда не был он трусом к слабаком, но каждый нанесенный ему удар подкреплялся авторитетом и мощью великой страны, простершейся от океана до океана, от южных гор до северных морей, где человек проходит, как хозяин, если он, конечно, не еврей. Теперь пришла пора расплаты, страна тоже возвращала мне должок. Я бил в нос и в Уральский хребет, в скулу и в горный Алтай, в зубы и в волжские утесы, по уху и по Средне-Русской возвышенности.

Я не только дрался, но и безобразно много пил, курил как оглашенный, не пропускал ни одной бабы, учинял дебоши, постоянно окруженный друзьями, собутыльниками, прихлебателями, и был противен себе самому гораздо чаще, нежели окружающим. Людям вообще не противно чужое разложение, если им перепадает кусок, а я сорил деньгами, много зарабатывая в кино. Моя квартира попеременно была то кабаком, то бардаком, а нередко совмещала в себе эти институты.

Славная история разыгралась на глазах всего ЦДЛ. Она так показательна для моего тогдашнего стиля жизни, что стоит рассказать о ней подробней. Однажды после затяжной попойки, пресыщенный писательским клубом, фальшивой сердечностью его завсегдатаев, ласковым жульничеством официанток, однообразием подгорелых блюд, я возжаждал перемены мест. И тут же вспомнил, что меня ждут в съемочной группе «Братьев Кошаровых», раскинувшей свои шатры на окраине Тарусы. Я никогда не был в этом литературном окском городке, вотчине Паустовского, где все зреет с шумом, преодолевая сопротивление властей, закладывают камень в память Марины Цветаевой, где издали талантливый альманах, открывший Окуджаву-прозаика. Я эбъявил сидящим за моим столиком Мише Чернову, прекрасному водителю и верному собутыльнику, сопровождавшему меня на все охоты, рыбалки и попойки, и работнику Иностранной комиссии, переводчику с французского Владу Челнокову, что еду в Тарусу немедленно и предлагаю им сопутствовать мне. Мишина рука рванулась к бутылке. «"Мукузку" хочешь?» – предложение выпить было для него формулой согласия, радости и признательности. Влад мило покраснел, представив себе гомерическое застолье, которым группа отметит приезд автора (за его, разумеется, счет), но ехать он не мог – вечером встреча с Симонной де Бовуар, он должен переводить. А Влад при всей очаровательной беспечности и вопиющей трудовой необязательности боялся связываться со старушкой, известной крутым нравом. Но коли я еду, он попросит о дружеской услуге: захватить с собой его приятельницу, которая мечтает показать свои рассказы Паустовскому. Пропустив мимо ушей слова о Паустовском, я сказал, что после затяжного кутежа едва ли окажусь достойным партнером этой новеллистке. «А это и не требуется, – сказал Влад. – Она вроде вообще не дает. Ей бы рассказы показать. А девка заводная, компанейская, хорошо пьет, любит природу, словом, не будет в тягость». Владу никто не мог отказать, он производил впечатление человека, который за друга готов хоть в воду. И не делает этого единственно по причине, что с воды его рвет, как бетховенского пьяницу.

Мы захватили знакомую Влада на Zubовской площади, возле ее дома. «Марина», – назвала она себя. Первое впечатление было довольно неважным: неопрятная, с густыми немывыми волосами, маленьким бледным лицом и чуть кривоватыми ногами, с которых она, едва

сев в машину, скинула босоножки, положив грязные ступни на спинку переднего сиденья. Второе впечатление было не лучше: развязная без натуги, самоуверенная, наготове и хамство, но сквозь все это сквозило что-то жалкое, неустроенное. В шестидесятих годах таких было много: сознательное пренебрежение внешностью и правилами гигиены, гонористость, натренированное остроумие и острословие, обманчивое впечатление легкодоступности. Но Влад был умный парень, он ее хвалил, так что не стоит спешить с выводами.

Вскоре я перестал жалеть, что мы взяли ее с собой. Она легко и не банально говорила, едко характеризовала людей, у нас оказалась куча общих знакомых, много читала и в литературных оценках была точна и неожиданно скромна. Достаточно долгий и нудный из-за пробок на переездах путь в Тарусу летел – незаметно.

Была лишь одна накладка. Тревожась о впечатлении, которое ее рассказы произведут на Паустовского, она решила проверить их на мне. Я чувствовал, что мое мнение не больно ее интересует, и, прочтя коротенькие рассказы, которые мне резко не понравились – не люблю вычурную, нарочито современную и не поддающуюся проверке прозу, я не счел нужным деликатничать, выложил, что думаю, без обиняков. Она, понятное дело, разозлилась и долго молчала, надменно вскинув голову, – поза, означавшая презрение к моей литературной отсталости. Я сразу зажалел ее и стал думать, как бы загладить свой промах.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.